

# ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ



ПОИСКИ  
ЖАНРА





**Василий Аксенов**

**ПОИСКИ  
ЖАНРА**

ПОСЕВ

*Обложка Вадима Филимонова*

© Possev-Verlag, V. Gorachek KG, 1986  
Frankfurt am Main  
Printed in Germany

*Таинственной не встречи  
Пустынны торжества,  
Несказанные речи,  
Безмолвные слова.*

*Анна Ахматова.*

## НОЧЬ НА ШТРАФНОЙ ПЛОЩАДКЕ ГАИ

Майор Калюжный собственноручно открыл большой висячий замок, чуть морщась от скрипа, потянул на себя правую половинку ворот и сделал приглашающий жест:

— Прощу! Заезжайте!

Улыбка появилась на устах майора. Высокая, очень худая фигура офицера с улыбкой на устах, медленно открывающая ворота штрафной площадки.

Любезность ли выражалась в улыбке или насмешка? Я мог бы предположить и то и другое, если бы за этот сумасшедший день не успел уже слегка привыкнуть к майору и сообразить, что его улыбки, мерцающие на лице с равномерностью маяка-мигалки, ничего не отражают вообще, что это просто рефлекторные сокращения мимических мышц, быть может, и в самом деле нечто вроде сигнала-мигалки.

Вот так это задержалось в памяти. Гнусноватый, с ржавчинкой будущей слякоти закат над силуэтом города. Окраина. Ощущение нечистоты, дряхлости, полуразвала в окружающих строениях. Кирпичные, в два роста стены старинных казарм. Гулкие удары по мячу из-за стен — отзвук дурацкого волейбола в

сапогах на босу ногу. Горящее от прошедшего дня собственное мое лицо. Жжение ссадин на ладонях и коленях. Майор Калюжный с мерцающей улыбкой в воротах штрафной площадки. Кот, драный, шелудивый, с деловито-бандитской физиономией прошедший по казарменной стене, затем мягко, с прогибом спины ступивший на ворота и проехавшийся слегка на них, прежде чем спрыгнуть на землю и пропасть в лопухах. Все двигалось или держалось в пространстве, прежде чем пропасть. Это естественно, но пространство-то вот подрагивало и слегка рябило, как хреновый киноэкран.

Я включил стартер. Мотор заработал. Лучше не смотреть на панель приборов. Что изменится? Масло горит — это ясно, а температура воды, то есть охлаждающей жидкости „тассол”, просто отсутствует в связи с отсутствием самой жидкости в разбитой системе охлаждения.

Двигатель грохотал, скрежетал железом по железу, и это у моего „фиатика”, который еще вчера жужжал словно лирическая пчелка.

— Прощу! Заезжайте! — погромче тут повторил приглашение майор Калюжный.

Я тронулся с места. Завизжали задние колеса, заклиненные краями смятого кузова. Теперь при вращении металл прорезал в резине глубокую борозду, а колеса визжали. Резина же дымилась и воняла.

Неутомимые зрители, с самого раннего утра окружавшие изуродованный автомобиль, стояли вокруг и сейчас. С интересом, без всякого сочувствия, но и без тени злорадства они наблюдали всю эту довольно заурядную историю: мое трепыханье, гоношенье и чуть насуспенную деловитость офицеров госавтоинспекции. Должно быть, они, эти зрители, менялись, одни уходили, другие приходили, но мне все они казались на одно лицо — просто мужчи-

ны, интересующиеся автомобилями, авариями, ремонтом. И разговоры вокруг весь день звучали одинаковые:

— Что, стойки-то у него пошли?

— Пошли.

— Значит, кузов менять.

— Менять.

— Значит, кузов в металле тысяча шестьсот, да поди его еще достань...

— Да, дела...

Бывает, знаете ли, стоит вот такая спокойно-рассудительная, туповато-любопытная толпа, но вдруг налетит какой-нибудь весельчак или пьяненький и всех как-то растормошит, разбередит болото. Здесь, видно, такого поблизости не было. В другое время я, быть может, внимательнее присмотрелся бы к этим людям, подумал о причинах их вяловато-сыровато-прочноватого единообразия, но в тот вечер я их почти не замечал.

Меня немного трясло. Состояние было предобморочное. Из окружающих предметов что-то фиксировалось, должно быть важное, а что-то размывалось, очевидно второстепенное, — или наоборот? Фигура майора Калюжного, например... — важна она или ни к селу ни к городу?

Вчерашний удар сзади показался мне чем-то вроде взрыва. Сознание я не потерял, но голову потрянуло очень сильно и, видно, под большую компрессию попали шейные позвонки.

Видно, все-таки что-то сдвинулось на миг, ибо первая мысль после удара была такова: взорвалась бомба... бомба была подложена мне в багажник... я знал прекрасно, что везу в багажнике бомбу, но не принял никаких мер, понадеялся, что она не взорвется... и вот взорвалась!..

Потом, видимо, все вернулось на свое место, так как я подумал: что за дурацкая бомба... никаких бомб не бывает... какие еще бомбы... это у меня бензобак, наверное, взорвался... а скорее всего кто-то сзади звезданул... Номер! Номер записать, пока подонок не смылся!

Я выскочил из машины и увидел этого орла. Пьяный подонок даже не вылез из своего „ЗИЛа”-поливалки. Он бессмысленно смотрел на меня сверху и повторял:

— Айда за мной, починимся. Парень, езжай за мной, починимся.

Вокруг мертвенно светился огромный и пустынный жилмассив. Над нами, над двусторонней шестирядной магистралью шипела бесконечная полоса газовых трубок. Как он умудрился меня найти в пустынном жилмассиве, этот ночной трудящийся?

Весь день я ехал на север из Киева. Дорога была максимально приближена к боевым условиям. Плавающий асфальт, выброс из-под колес, не пробиваемые фарами клубы пыли с обочин, из-под грузовиков. Грузовики, представляющие вечно растущую индустрию, шли почти непрерывными потоками в обе стороны. Чтобы держать среднюю скорость пятьдесят, приходилось совершать опасные для жизни обгоны. Потом ночью начались бесконечные объезды, машины скатывались с разбитого асфальта на грунтовые ухабы, тащились на второй скорости, заваливались иной раз в кюветы.

Наконец проехал я под кольцевой дорогой большого города и выкатил в пустынный, хорошо освещенный жилмассив, на широченный проспект Красногвардейцев. Здесь-то в полной уже, казалось бы, безопасности догнал меня труженик коммунального хозяйства с шестью тоннами воды в цистерне, на скорости девяносто км/час.

Я стоял среди осколков моего заднего стекла и стоп-фонарей, в какой-то луже, в липкой какой-то жиже, и смотрел на бледное пьяное лицо, рукав промасленной ковбойки, кулак, медленно поворачивающий руль на меня.

— Айда починимся! Слышь! Айда починимся! — уже бессмысленно повторял он, а колесо все поворачивалось на меня.

— Куда же ты, сука, отъезжаешь?! — вдруг завопил я не своим голосом и в совершенно не свойственных себе выражениях. — Ведь я же номер твой запомнил, пень с ушами!!

Здесь началось что-то шоковое — я никак не мог уйти от надвигающегося на меня колеса, а он, должно быть, не мог остановить вращения. Время слегка растеклось в том, в чем оно обычно растекается, — в пространстве. Почему-то я очень хорошо запомнил лицо шофера и даже успел сделать какие-то умозаключения.

В принципе это было хорошее лицо, хорошо очерченное, так сказать, скульптурное — впалые щеки, чуть выступающие скулы, крепкий подбородок, эдакий баррикадный боец, если бы не следы нравственной и физической деградации — синюшность губ, круги под глазами, порочная, пьяная, вполне бессмысленная улыбочка. Ночная жизнь даже в поливальных машинах разрушает личность, помнится, подумал я.

Впоследствии, уже в отделении ГАИ, я узнал, что именно в поливальных машинах блуждает по ночам грех этого большого города. Они и девок перевозят куда надо, и водку, и „ширево”.

Вдруг я сообразил, что еще миг — и он меня раздавит, а раздавив, поедет дальше, все так же бессмысленно повторяя: „Айда починимся!”

Я отскочил в сторону, а он поехал по проспекту Красногвардейцев, „гуляя” по рядам, вихляясь, пока не доехал до площади с круговым движением, где в центре была огромная агитационная клумба. Там он остановился.

В тишине я услышал, как вытекает из моей верной машины жидкость, охлаждавшая ее душу.

Хорош ударчик! Задок был смят в гармошку, но и передок не остался цел. Двигатель ушел вперед и разбил радиатор.

Хватит, хватит ездить на автомобиле, говорили мне мать и другие женщины. Куда ты все гонишь? С тех пор как у тебя появились четыре колеса, ты все гонишь и гонишь. Что за странности? Где ты был и куда ты едешь сейчас? Почему ты торопишься? Ты едешь в Крым, но тебе там не сидится, и ты пересекаешь с востока на северо-запад Украину, Белоруссию, Литву, а потом едешь на восток, следуя изгибам Балтийского моря, и углубляешься в северную Россию, постепенно приближаясь к Москве, к дому, а из дома, сменив фильтры и масло, катишь на юго-восток через старинные губернии к новым и в Новороссийске в гибельную ночь встаешь на опасную трассу до турецкой границы, а потом блуждаешь по горным республикам, отвыкаешь от нормальной еды и мытья, а потом в тоске направляешь колеса на север, вроде бы к дому, вроде бы к отдыху, но сам уже знаешь, что отдых обернется для тебя промыслом всяких там шаровых тяг, амортизаторов, сменой фильтров и масла и выправлением документов для пересечения государственной границы с одной целью — движение по новым пространствам, через Румынию в Болгарию, вокруг Болгарии в Югославию, оттуда в Венгрию и поперек Чехословакии в Польшу и далее на магистраль Е-8, чтобы снова вернуться в Москву для смены филь-

ров и масла. Хватит, хватит уж тебе ездить по дорогам. Ты и машину загонишь и ничего не найдешь из того, что ищешь.

Я увидел, что поливальщик кричит кому-то куда-то и к нему, к агитационной клумбе с ее огромными плакатами и как бы фонтаном из знамен приближаются трое. Три фигуры. Откуда взялись в пустоте эти трое? Из какого пространства?

Он что-то им говорил очень громко, но я не мог разобрать слов. Показывал на меня, и они на меня смотрели. Потом он махнул, запел... это я слышал хорошо... „Стою на полустаночке в дешевом полущалочке”... и поехал вокруг клумбы, а потом куда-то вбок и все увеличивал скорость, пока не исчез.

Между тем трое приближались ко мне. Три фигуры.

— Айда починимся! — крикнул еще издали один из них явно не свою фразу.

— С места не тронусь, пока милиция не приедет! — крикнул я.

— Ты где машину украл? — крикнул второй.

— Давайте ему смажем, — громко предложил третий.

С каждой фразой они приближались — три ночных подонка: один в костюмчике с галстучком, второй в грязно-белом свитере и третий длинноволосый, якобы битовый, в широченных штанах и майке с короткими, но широкими рукавчиками, которые разлетались у него на плечах словно крылышки.

— Ты что, чиниться не хочешь? Да? Да? — быстро спросил галстучек.

— Сейчас мы проверим кто такой. С органами хочешь познакомиться? — Свитер взялся за задний карман, будто у него там пистолет, и вытянул оттуда засаленную красную книжечку.

— Эх, беда! — Длинноволосый сделал резкое движение рукой вниз, как бы норовя схватить меня за гениталии. — Шнурки развязались! — И взялся завязывать свои шнурки, копошась прямо у моих ног и даже иногда приваливаясь головой к моим коленям.

Вот сейчас они меня отделают, а машину ограбят. Странное будет дело на ярко освещенном флюоресцирующем проспекте.

Лица всех троих похожи на бледное лицо поливальщика. Быть может, дело в освещении? Быть может, и я сам сейчас под газовыми трубками похож на поливальщика? Вот будет дело! А ну отвалите, ханыги! У меня монтировка в руке. А вот гляньте-ка, товарищи, у него железка в руке. Надо смазать ему. Жаль, я пистолета не взял сегодня на дежурство, так и разрядил бы мазурику в живот. Машину украл! И чиниться не хочет. Вот так может и жизнь отлететь на пустынном проспекте. Три подонка вытрясут из меня жизнь. А что там у тебя в машине — плащ фирменный? Где украл? Продай краденое! Чиниться не хочет! Давай пройдем со мной, ты что, документа не видишь? Руки убери! В зубы железкой. В человеческие зубы железным предметом. Дайте-ка я его за яйца возьму! А ты его за горло подержи! Проверить надо документы в карманах. Ага, вот наши яичики! Откуда только берутся силы? Кто посылает тебе силы, когда ты борешься за достоинство своего тела? Кто утраивает твои силы?

Ханыги все-таки свалили меня на асфальт и собирались уже обработать ногами, когда в конце проспекта из тоннеля выехала патрульная машина... Как труп в пустыне я лежал... Машина приближалась. Была тишина. Ханьги слиняли в дырявом пространстве.

— А есть у вас свидетели? — спросил командир взвода дорожного надзора капитан Казимир Исидорович Пуришкевич.

— Вот они и были единственные свидетели, — сказал я, трясаясь. — Трое подонков.

Меня сейчас уже волновала не разбитая машина, не мужское достоинство и не продолжение пути, а некоторая дырявость пространства. Я стал вдруг обнаруживать вокруг прорехи, протертости, грубейшее расползание швов. Откуда взялась вдруг многотонная, плохо управляемая поливалка и почему врезалась вдруг ни с того ни с сего в мой совершенно к ней не относящийся автомобильчик? Откуда вышли те трое? Все вокруг слегка плывет, слегка дрожит паршивая циркорама, и сквозь ее прореженную ветхую ткань и проходит случайная нечисть. Одно утешение — лица офицеров ГАИ. Они крепки и определены и принадлежат без сомнения к человеческой внутренней сфере. Я старался держать на них свой взгляд. Капитан Пуришкевич, майор Калюжный, старший лейтенант Сайко заканчивали оформление дорожно-транспортного происшествия. За окном в утренней сырой тени стоял мой несчастный „жигуленок“-фургон 21-02. В тени он даже и не выглядел изуродованным, а просто поджавшим хвост.

— Значит, вот список повреждений. — Капитан Пуришкевич покашлял и стал читать с некоторой торжественностью: — „Деформация кузова с прогибом стоек, деформация заднего бампера, разбиты задние фонари и заднее стекло, пробит радиатор, сломана крыльчатка вентилятора...” Это, как вы сами понимаете... — он заглянул в мои документы, — Павел Аполлинарьевич, только лишь данные наружного осмотра. Остальные дефекты вам установят при калькуляции для Госстраха.

Тут привели беглеца-поливальщика. Он был взят за вполне мирным делом — поливал склад продовольственного магазина, и вовсе не потому, что сторож ему не вынес бутылку, а просто для чистоты. А этот товарищ, он повернул ко мне слепо улыбающееся лицо, этот товарищ чиниться не хотел.

— Тебя, сволочь пьяная, расстрелять надо! — крикнул ему в ухо капитан Пуришкевич. Крикнул громко, но не прошиб. Поливальщик только шире улыбнулся, положил ногу на ногу и попросил разрешения закурить.

Офицеры окружили его, а он сидел посредине дежурки нога на ногу и слепо улыбался. Столько порока было в этом поливальщике, что не снилось и римскому императорскому двору.

— Знаешь, гад, какую сумму тебе платить за эти „Жигули” придется? — спросил его старший лейтенант Сайко. — Две тысячи.

— Трест заплатит. — Поливальщик поеживался, будто нежился в тепле дежурки. — Все заплатит или процентов тридцать... Это как положено, такой закон...

Офицеры Пуришкевич и Сайко захохотали. Майор Калюжный вообще не сказал поливальщику ни слова, а только светил на него своим пульсирующим лицом, стоял согнувшись, положив руки в карманы.

— Давай сюда свои права, — скомандовал Сайко и попросту выхватил зачуханную книжечку из руки поливальщика. — Гарантирую тебе — год за руль не сядешь.

Почему-то они были очень злы на этого поливальщика, хотя видели его впервые. Потом я узнал, что в этом городе вообще милиция ночных поливальщиков недолюбливает.

— Могу себя считать свободным? — Слепая улыбка расплзлась все шире, а глазки все еще были замасленными от ночного кайфа. — Разрешите удалиться?

Он был в мятом плаще-болонье поверх замасленной ковбойки. Мне лично сейчас в столовую нужно — сутки не ел. Иди-иди, жди повестки, хмырь с ушами. Жилистое, порочное, подванивающее тело чувствовалось под ветхими одеждами. Сейчас макароны буду есть с маслом. А платить когда будешь две тысячи рублей? Трест определенный процент заплатит. Ну, счастливо оставаться, товарищи! С протянутой ладонью он поворачивался ко всем присутствующим. А ты знаешь, на кого наехал? На артиста! Если бы знал, так соломки бы... На известного артиста Дурова, сволочь ты эдакая, наехал! Если бы знал, так соломки бы постеле... Ты телевизор-то смотришь хоть иногда, чем ты вообще занимаешься? Соломки бы постелил, товарищи. Портрет Дзержинского, Ленин за письменным столом с газетой, часы, график дежурств, красный выпел... пространство с треском пропоролось в непространство, откуда волной дохнул запах хлорки и куда шагнул поливальщик. Значит, вам, товарищи, счастливо оставаться и вам, товарищ артист, починиться, а я в столовую. Ведь если бы знал, хоть газетку старую бы постелил, хоть бы...

— Простите, — сказал я офицерам, — мне как-то неловко. Вот уж не предполагал, что вы меня узнали. Меня всего дважды показывали по телевидению. К тому же я, увы, не из тех, знаменитых Дуровых. Обычно меня не узнают.

Мне в самом деле было немного стыдно. Я не собирался отказываться от своего так называемого артистического звания, но не хотел, конечно, распространяться, а тем более называть свой жанр.

— Как видите, Павел Аполлинарьевич, вас знают, — сухо вато ободрил меня майор Калюжный. — Не все в нашем городе такие, как этот... — он заглянул в документы поливальщика, — как этот Федоров. Мы здесь следим за искусством, в том числе и за вашим жанром. У нас здесь трасса международного значения... а что касается меня лично, то я запоминую всех, кого вижу по телевизору.

— Это точно, — засмеялись подчиненные. — Майор у нас знаток голубого экрана.

— Ну, хватит, ребята, — сказал майор так, будто ребята уж очень-то разошлись. — Давайте лучше подумаем, чем мы можем помочь артисту Дурову.

Они стали думать, как мне помочь, как и в самом деле мне починиться, чтобы ехать дальше. С каждой минутой ситуация осложнялась. Во-первых, оказалось, что сегодня воскресенье, а значит, закрыта станция техобслуживания, во-вторых, выяснилось, что у них в гараже нет ничего для „Жигулей”, далее — лопнула надежда на какого-то Ефима Михина, который мог бы мне радиатор запаять и вообще все сделать что надо, но в данный момент в пространстве не пребывал в связи с отсутствием... и далее... и далее... Как видите, Павел Аполлинарьевич, в сущности, мы вам, к сожалению, помочь совсем не можем при всем желании и уважении к вашему таланту. Я очень вам признателен за сочувствие и отзывчивость, товарищ майор, и всем товарищам, но уж пожалуйста, какой там талант. Нет-нет, позвольте, Павел Дуров — это имя. Вот уж не ожидал, в самом деле. Ну, не знаем, как в Москве, но в нашем городе это имя. Несколько минут они говорили обо мне как о чем-то вне меня, и я, слушая их, тоже думал о себе как о чем-то отдаленном, никак не соединяя себя с тем мастером полупозорного жанра по имени Павел Дуров. Нет, даже кораблям необходима при-

стань, но не таким, как мы, не нам — бродягам и артистам... Так, кажется, поется? Да, где-то поется приблизительно так.

Весь жаркий и пыльный, дымчатый, полуобморочный день я провел в разъездах на такси по этому городу. Он показался мне бредовым скопищем людей, машин и зданий. Конечно, в объективности меня трудно было бы заподозрить. Мелкие, гнусные, как ссадины и порезы, неудачи преследовали меня. Зуд, ноющая боль в разных частях тела, растертость кожи и пот — все это создавало необъективность в отношении к городу, который, кажется, считается объективно красивым.

Я вбил себе в голову, что мне необходимо сегодня починиться, чтобы продолжить путь и за ночь достичь Балтийского моря. Почему-то мне казалось, что там, на морском берегу, все у меня быстро наладится.

Я искал механика и запчасти, хотел попросту купить новый радиатор и расширительный бачок, но все автобазы были закрыты, что вполне естественно в воскресенье. Раздражение же мое против этого города было неестественным и глупым.

Наконец и раздражение стало затухать и сменяться ошеломляющей свинцовой усталостью. Гонка от Киева, авария и ночь на проспекте Красногвардейцев, потная тяжелая жара и бессмысленные поиски в чужом городе — все это сделало свое дело. Я едва дотасился до отделения ГАИ с единственной уже идеей — разложить сиденья в машине, грохнуться на них и заснуть. Однако здесь оказалось, что любезные мои хозяева-офицеры за это время добыли откуда-то из-под земли знаменитого Ефима Михина, который теперь ждал меня со сварочным аппаратом.

Внешность Михина была до чрезвычайности нехороша, но отчетлива. Речь его состояла из мата с ред-

кими вкраплениями позорно невыразительных слов, но в целом и она была до чрезвычайности ясна. Из нее следовало, что Михин на всех артистов положил и на калым положил и его никто даже и в милиции не заставит работать по воскресеньям, потому что он занятой человек и на все кладет с прибором. Потом он осмотрел разбитый радиатор, сунул мне в руки отвертку и сказал:

— Снимай и в цех его ко мне тащи, икс, игрек, зет плюс пятнадцать концов в энской степени.

У всех сочувствующих, и у Калюжного, и у Пуришкевича, и у Сайко были дела, и я остался с отверткой в руках наедине с радиатором да с небольшим количеством переминающихся с ноги на ногу безучастных зрителей. Дело чести стояло передо мной — снятие радиатора на глазах у бессмысленно-внимательной толпы. В жизни я не снимал радиаторов с автомобилей, в жизни не откручивал ржавых гаек. Эй, цезарь, снимающие радиатор приветствуют тебя и кладут на тебя, и кладут на тебя, и кладут на тебя! Часу не прошло, как я снял радиатор.

— Ты где, артист-шулулуев, заферобался с черестебанным радиатором-сулуятором? — любезно осведомился Ефим Михин и запаял радиатор.

— Значит, сейчас поедем? — туповато спросил я Ефима Михина.

— Сейчас поедешь на кулукуй, если патрубок големаный не сгнил к фуруруям, — сосредоточенно ответил Ефим Михин, вытащил патрубок и посмотрел на свет.

Патрубок, оказалось, сгнил к фуруруям.

Ефим Михин отшвырнул его словно капризная балетная примадонна и грязно заругался прямо мне в лицо. Я протянул ему червонец и сказал:

— Давай катись отсюда, Ефим Михин.

— Чего-чего?! — Ефим Михин был очень потрясен.

Он, видимо, полагал, что производственный процесс в самом только еще начале, он, видимо, и в самом деле был настроен починить мой автомобиль, но что поделаешь, если физиономия его с длинным буратинским носом и утюгообразным подбородком стала вдруг передо мной дрожать, расплываться и частями вдруг проваливаться в непространство.

— Я тебя видеть не могу, Ефим Михин.

— Ага, понятно. — Впервые в голосе мастера мелькнуло что-то похожее на уважение, и он исчез без единого матерного слова.

Тогда уж я и обратился к командованию с просьбой о ночлеге.

Требовалось мне немного — лишь кусок пространства чуть в стороне от дежурного пункта ГАИ. Лишь бы на мотоциклах по голове не проезжали, а все остальное меня не смущало. Отвалю сиденья, сумку под голову, плащ на голову — и поминай как звали. В сущности, я чуть-чуть все-таки еще хитрил — неистребима человеческая натура! Пользуясь образованностью майора Калюжного, я рассчитывал пробраться в гаишный гараж. Оказалось, это невозможно, оказалось, это против всяких правил. Такую ответственность на себя майор взять не мог.

— Единственное, что могу предложить... — он слегка замялся, лицо его пропульсировало на два отсчета в тишине, — вот единственное, что могу вам предложить, товарищ Дуров, это наша штрафная площадка. Это, увы, единственное, что могу предложить.

Я въехал на штрафную площадку, а майор поспешно прикрыл за мной ворота, чтобы посторонний глаз не проявлял пустого любопытства.

— Влево руль, еще, еще, до отказа, теперь направо, еще чуть-чуть, хорош, стоп!

Это был небольшой двор, заросший сорной травой. Две стены высокие, кирпичные, а две деревянные, с колючей проволокой поверху. Близко к площадке подступал пятиэтажный дом, в котором два этажа принадлежали ГАИ, а в остальных гнездились какое-то явно непуританское, судя по крикам, общежитие. За одной из деревянных стен в отдалении подрагивал маловразумительный силуэт города, за другой, видимо, был казарменный плац — отсюда доносились команды и грохот коллективного шага.

В середине двора в два ряда стояли изуродованные машины, всего, кажется, штук десять, а вдоль одной из кирпичных стен — не менее двух десятков изуродованных мотоциклов. Для полноты картины следует сказать, что за этой стеной не было ничего, отсюда и не слышалось ничего, подразумевалось там что-нибудь вроде болота или свалки.

— Да-с... — Майор Калюжный покашлял. — Вот... если вас не смущает...

— Да просто чудесное место! — с энтузиазмом, правда вполне ничтожным, воскликнул я. — Тишина! Просто дача...

— Я вас вынужден тут закрыть снаружи, — сказал майор, — но если что-нибудь понадобится, кричите. Дежурное помещение рядом. Итак, приятного отдыха. Покидаю вас. Сейчас я буду лекцию читать для личного состава. Жаль, что вы торопитесь, ваше выступление у нас было бы подарком...

Он согнулся в три погибели и шагнул в калитку. Калитка закрылась. Повернулся ключ в ржавом замке. Я остался один и сразу же стал опускать спинку сиденья. Скорей бы, скорей бы растянуться, отдых дать измученному телу, да и об измученной душе не мешало бы побеспокоиться — вполне заслужила, несчастная, короткий отпуск и полет в иные, более прохладные сферы.

Растянувшись, я обнаружил вдруг с удивлением, что уснуть не могу: все что-то во мне трепетало, дрожала жилочка под коленом, мелькали лица прошедших суток, жесты, движение машин, переключенные света, сигнальные огни, проворачивались болты, отвинчивались патрубки... лист протокола вдруг ко-со, словно сорванный осенью, пересек картину, я обрадовался, что засыпаю, но от этой мысли про-снулся окончательно.

Казалось бы, плевать мне было на штрафную площадку, где сейчас стоял мой автомобиль, но вдруг она стала объектом моего пристального внимания, я вдруг обнаружил себя в окружении страшных монстров, диких калек, несчастных уродцев, что были еще совсем недавно великолепными аппаратами.

Вот нечто, именовавшееся когда-то „Волгой”. Передок у нее выглядит так, словно на нем смыкались челюсти дракона. Даже чугунный блок цилиндров, торчащий из обрывков металла, и тот изуродован. Крыша примята к сиденьям, а на задранной вверх двери висит пиджак с полуоторванным рукавом.

Одна машина была страшней другой. Нечто, то ли „Жигули”, то ли „Москвич”, выглядело так, будто его долго толкли в ступе. Еще одно нечто напоминало выжатую тряпку. Рядом — довольно аккуратненький остов сгоревшего „Запорожца”. В нем все сгорело: провода, пластик, резина... Торчали пустые глазницы, и казалось, что и фары у него вытекли от огня, словно живые глаза. Любопытно, что изуродованные механизмы в большей степени, чем целые, напоминали биоприроду. Трудно было удержаться, чтобы не сравнить раскуроченные мотоциклы с какими-то огромными погибшими насекомыми.

Волей-неволей о биоприроде напоминало еще и другое: вещи или остатки вещей, принадлежавшие водителям и пассажирам, облекавшие когда-то их биологические тела. Тяжело и неподвижно висел на руине упомянутый уже пиджак. Поблизости подрагивал в сквознячке лоскуток яркой материи. Белый пластмассовый ободок светозащитных очков висел на искореженном зеркальце заднего вида. Впечатляли мотоциклетные шлемы. Расколотые, помятые и треснутые полусферы свидетельствовали непосредственно о головах, в них некогда содержавшихся. Почему же эти несчастные вещи присутствуют здесь, на штрафной площадке, а не забраны владельцами? — подумал я.

— Забирать, по сути дела, некому, — ответил из окна второго этажа майор Калюжный. — Здесь в основном представлены результаты аварий со смертельным исходом. Ведется следствие. Обломки транспортных средств и остатки одежды суть вещественные доказательства. Владельцы и пассажиры, увы, практически отсутствуют в нашем пространстве за исключением некоторых, которые в Институте скорой помощи еще борются за свои жизни, в чем, конечно, все наше подразделение желает им большого успеха.

Гладкость, с которой он сообщил все это из окна, говорила о том, что он, по сути дела, уже вошел в роль лектора. И впрямь, ответив на мою мысль, он тихо притворил окно и обратился к своей аудитории.

— Товарищи, правительство парагвайского диктатора Стресснера уже давно поставило себя в практическую изоляцию на международной арене... — глухо доносился до меня его голос из-за двойных рам.

Сумерки сгущались. Силуэт города сливался с небом. Кот прошел, словно фокусник, по колючей

проволоке и с базарным визгом свалился за кирпичную стену, в пустоту. Гнуснейшее настроение охватило меня. Я подумал о пустоте и никчемности своей быстро, год за годом пролетающей жизни, о пустоте и никчемности того странного жанра искусства, которым я вынужден заниматься на глазах небольшой кучки скучающих зрителей, о пустоте и никчемности своей вполне дурацкой автомобильной жизни, о пустоте и никчемности и той, и другой, и третьей, и десятой моей любви, о леденящей пустоте и о шерстящей, кусающей, трущей никчемности этого нынешнего вечера на штрафной площадке... Дымка, пыльный мрак, грязь подгнивающего лета... Единственное, на что я еще надеялся в эту ночь, был лунный свет. Хоть бы луна взошла.

Она взошла, но совсем не так, как я хотел. Она висела, как на экране, плоско и никчемно, вызывая опасения, как бы не оборвалась пленка, как бы не поехали швы, как бы не потекла краска. Нет, уж никогда не увидать мне, должно быть, луну так, как видел я ее в молодости. Как все было отчетливо и просто вокруг расцвета жизни, вокруг тридцатилетия! Какая была луна!

Какое все было! Какая мгла висела, если уж она висела! Какие дымные вечера! Какие запомнились верхушки кипарисов! Какие звездочки летели над морозом! Какой азиатский был мороз! Какие ветреные, промозглые европейские дни! Как я выходил, перетянутый в талии кушаком плаща, и — шляпу на затылок, — крепко стуча каблуками, весело на вечном полувзводе шел по Литейному на бульвар Сен-Мишель и дальше на Манхаттан!

Беда, конечно, не в возрасте. В любом возрасте можно естественно жить, если ровно в него вошел. В конце концов, и скачки кровяного давления и спазмы кишок должны восприниматься всякой гар-

монической личностью естественно, в том же ряду, что луна, ветер, песок, снегопад...

Беда, быть может, в том, что я, Павел Дуров, где-то проскочил мимо поворота, или не попал в шаг, или слишком долго был молодым, или, наоборот, рановато заныл, или не оправдал надежд, или въехал башкой в потолок... Быть может, меня тошнит от человеческой дури, а может быть, и сам я фальшивлю... То ли держусь за право на шарлатанство, то ли стыжусь своего трико, трости, дурацкого цилиндра, текстов, музыки — всего жанра... Короче говоря, он, лежащий сейчас на разложенных сиденьях в разбитой машине на штрафной площадке ГАИ, потерял свои пазы, он не входит уже в них, как точно вмазывался когда-то, словно крышка в пенал, он то ли маловат для этого сечения и болтается в нем, то ли крупноват и не вмещается, несмотря на тупые тычки. Пространство, которого частью он был и не мнил себя иначе, теперь вдруг превращается для него в хреноватый расплзающийся экран базарной циркорамы, и именно поэтому, а не по слепой случайности догоняет его сзади идиотская многотонная поливальная машина с порочным идиотом за рулем.

Лежание на разложенных сиденьях „ВАЗа” 21-02 — изрядная нагрузка для позвоночника. Если он у вас не гибок, как ивовая лоза, вы рано или поздно закричите. Молодым автомобилистам, вступающим на тернистую дорожку автобродяг, советую спать поперек, а не вдоль автомобиля, а ноги закидывать на спинку переднего сиденья, если вы сзади, или на панель приборов, если спереди.

— А лучше все-таки палаточку с собой возить, — услышал я чей-то голос. — Палаточка, спальный мешочек, газовая плиточка на баллончиках... Места

много не занимают, а дают исключительные удобства!

В глубине штрафной площадки я увидел человека весьма округленных очертаний. Он вроде бы вошел в багажник изувеченной „Волги”, вынимал оттуда какие-то предметы, освещал их маленьким фонариком и внимательно рассматривал. Занимался своим делом человек и уютно так приговаривал — приятная, положительная, надежная личность. Почему-то я смекнул, что зовут его Поцелуевский Владимир Оскарович, но никак еще не мог понять, откуда он взялся.

Тут зазвучал другой голос — низкий тембр, активное мужское начало, некоторая бравада:

— Ты о баллончиках говоришь, Оскарыч, а вот у нас был один мужик такой, Семен, так тот из своих „Жигулей” сделал нечто.

Гоша Славнищев (я был уверен, что именно так его зовут) сидел на капоте сгоревшего „Запорожца”, потряхивал что-то в ладони и снисходительно рассказывал про какого-то Семена, который сделал на своем „ноль первом” на крыше отличную коечку, и даже с откидной лесенкой, и там отлично кемарил, а если дождь начинался, то над Семеном подымалась великолепная водонепроницаемая крыша. Кроме того, у Семена, конечно, не пропадал ни один кубический сантиметр и внутри автомобиля и везде были всякие приспособления, так что семейство могло во время путешествия и пожрать, и телек посмотреть, и охлажденный употребить напиток, и разве что похевзать на ходу было нельзя, Семен прорабатывал и эту систему. Был у них такой Семен, фамилию его Гоша Славнищев не помнил, но вот койка на крыше — это, конечно, неизгладимо...

Откуда взялся этот Гоша Славнищев на штрафной площадке ГАИ в ночной час? Как оказались

здесь еще и вон те двое, что, не включаясь пока в беседу, возились в углу площадки, кажется перемонтировали колесо, во всяком случае занимались трудоемким делом? Имена этих незнакомых мужчин Слава и Марат были мне доподлинно известны, про Марата Садредина я знал к тому же, что он прапорщик в отставке, но откуда они взялись здесь, где еще десять минут назад не было никого? Как очутилась здесь суховатая дамочка в прозрачном платице с оторванным рукавчиком? Она прогуливалась среди руин, как бы что-то мельком ища, поглядывая на землю, но явно показывая, что искомого ей и не особенно-то нужно, что она может без него вполне обойтись.

За воротами штрафной площадки прошла к казарме военная машина. Электричество проникло в щели, и один луч на мгновение осветил лицо Ларисы Лихих. Следы многочисленных огорчений лежали на нем вкуче с яркой помадой и краской для век.

— Семен? — спросила она у Гоши Славнищева. — Это что, еврейское имя?

— Необязательно, — отозвался из своего багажника Вадим Оскарович. — Буденный разве еврей?

— Да-да, — рассеянно проговорила Лариса и вдруг, испустив радостный возглас, она ринулась к закрученной в стальную тряпку машине и вытащила из какой-то рваной щели лакированную дамскую сумочку. Торопливо, с нервной радостью она открыла сумочку и заглянула внутрь, но тут вспомнила, видимо, что сумочка эта ей не очень-то и нужна. Тогда она независимо пошла вдоль забора, небрежно помахивая сумочкой и напевая:

— Такие старые слова, а так кружится голова-ова-ова-а-а...

Еще и еще люди появлялись на штрафной площадке в мутноватом свете горящей вполнакала

луны. Все они были незнакомы мне, но имена их брезжили сквозь прореженную ткань пространства, а некоторые просто выплывали вполне оформленные и отчетливые, словно золотые кулончики: Олеша Храбростин, Рита Правдивцева, Витас Гидраускас, Нина Степановна Черезподольская, Гагулия Томаз...

Мотоциклисты иные сидели в своих седлах, покуривая, тихо разговаривая и смеясь, иные подпирали стенки, третьи возились с покалеченными механизмами... — в основном это все была молодежь.

Возле машин держалась публика посолиднее. Нина Степановна, например, была крупной, даже несколько тяжеловатой персоной с высокой прической и несколькими наградами на отменном костюме-джерси. Она стояла столь внушительно и строго, что вроде бы не подходи, но вот к ней приблизился хитрюга Потапыч в брезентовом грубом армяке, тронул ее без особых церемоний за слегка отвисший бок, и она спокойно к нему повернулась. За воротами в этот момент прошла еще одна военная машина, снова луч электричества проплыл через штрафную площадку, и я увидел в этом луче, как лицо Н. С. Черезподольской, по идее выражающее незаблемость и авторитет, осветилось при виде хитрюги Потапыча простейшей улыбкой.

— Гоша, а ты с маршалом Буденным знаком? — крикнул из угла Слава. Он вынул уже из ската камеру и сейчас отряхивал ее и протирал тряпкой.

— Пока нет, — ответил Гоша, тряхнул посильнее что-то в своей ладони и обратился как бы ко всем присутствующим.

— Ну что, мужики, лампочки пятиваттные кому-нибудь нужны?

— Я у тебя возьму с десятков, — сказал хитрюга Потапыч и обратился через голову Славы к Поце-

луевскому: — А вы, Вадим Оскарович, поршней не богаты?

— Я вам скажу. — Поцелуевский, вытирая руки чистой ветошью, обогнул „Волгу” и приблизился, представляя из себя чрезвычайно приятное зрелище в своем замшевом жилете и новейших джинсах „ливайс”, „молния” на которых поднималась лишь до середины своего хода. — Я вам так скажу, Потапыч. Запчасти для „М — двадцать один” заводом уже не выпускаются, а машины еще бегать будут долго. Вы согласны?

— Чего же им не бегать, — хохотнул хитрюга Потапыч. — Такая машина! Танк русских полей.

— В свете вышеизложенного, — как бы подхватил Поцелуевский, — вы, конечно, понимаете, какую сейчас ценность представляет из себя поршень „М — двадцать один”. Поршень! Вы понимаете — поршень!

— Поршня, — любовно постанывал Потапыч, оглаживая пальцем отсвечивающую в руках Поцелуевского металлическую штуку. — Поршня, она всегда поршня.

— Я уступлю вам его, — решительно сказал Поцелуевский, — но вы, Потапыч, должны мне за то достать пару вкладышей.

— Передних или задних? — быстро осведомился хитрюга Потапыч. Поршень уже исчез в необъятной его брезентовой хламиде.

— Передних или задних, — тяжело, с горьковато-добродушной иронией вздохнул Поцелуевский и заглянул в глаза Потапычу. — Ну, Потапыч, предположим, задних.

— Эх, Оскарыч, задних-то как раз нету! — весело обрадовался хитрюга Потапыч. — Однако не тушуйся, тут у одного мужика должны быть задние вкладыши, я точно знаю. Ребята, — обратился он ко всем

присутствующим, — кто Кирибеева Владимира тут видел?

На штрафной площадке наступило вдруг какое-то неловкое молчание. Доносились лишь внешние звуки: грохот сапог проходящего взвода, шорох шин, глухой голос майора Калюжного из-за окон: „...народ Намибии давно уже дал недвусмысленный ответ южноафриканским расистам...”

— Кирибеева Владимира тут пока еще быть не может, — вдруг заявила с некоторым вызовом Лариса Лихих. — Практически Кирибеев еще борется за жизнь на операционном столе Третьей горбольницы.

Вдруг Нина Степановна приблизилась к Вадиму Оскаровичу и стала развязывать неизвестно откуда у нее взявшийся промасленный узелок.

— Практически, Вадим Оскарович, я могла бы вас выручить, потому что имею некоторые основания в смысле собственности Владимира Ивановича, и в частности по поводу задних вкладышей.

— Как приятно, вот радость! — Поцелуевский взял вкладыши. — Значит, вы, Нина Степановна, были в близких отношениях с Кирибеевым?

— Практически да, — сказала Черезподольская. — Он волновал мое женское начало.

— Мое практически тоже, — высоким голосом сказала Лариса Лихих.

Два луча из-за ворот остановились на лицах женщин. Растерянно-детское выражение на величественном лице Н. С. Черезподольской. Мечтательное выражение на наступательном лице Ларисы Лихих.

Среди мотоциклистов в темном углу послышался смех.

— Поцелуйтесь, тетки! — посоветовал чей-то голос, кажется, Риты Правдивцевой.

Нина Степановна чуть пригнулась, Лариса чуть подтянулась, и они поцеловались, причем после по-

целуя рот Лихих как бы увеличился, а рот Черезподольской как бы уменьшился.

Поскрипывая кожей, прошелся вдоль автомашин литовский ковбой Витас Гидраускас.

— Я слышал, кто-то здесь имеет приличный вулканизатор? Я имею три дверных ручки и четыре ограничителя.

Кто-то предложил ему вулканизатор, кто-то заинтересовался дверными ручками. Олеша Храбростин вместе с подружкой своей Ритой Правдивцевой живо, бойко делились запасом фиатовских свечей, сальниками, прокладками и все спрашивали про задние амортизаторы, пока Томаз Гагулия не принес им эти амортизаторы, которые получил от вновь прибывшего английского туриста Иена Лоуренса в обмен на рулевое колесо в сборе. Последнего кто-то спросил между прочим:

-- А вы, Иен, сейчас непосредственно откуда?

— Из Третьей горбольницы, — ответил рыжий славный мальш, типичный инглишмен.

— А Кирибеева Владимира вы практически видели?

— Практически мы боролись за жизнь на соседних столах, но он еще там, а я, как видите, уже здесь.

Любопытно, что Лоуренс как будто бы говорил по-английски, но все его понимали, и он всех понимал и, мало того, был в курсе всех событий этого ночного рынка запчастей. Да-да, ведь это именно просто-напросто рынок запчастей, подумалось мне. Весьма все это напоминает паркинг возле магазина „Спорт” на Дмитровском шоссе или ту веселой памяти осиновую рощу за Лианозовом у кольцевой дороги. Только, кажется, денежные знаки здесь не в ходу, идет прямой обмен с неясным еще для меня эквивалентом ценности, но по сути дела это просто-напросто именно непосредственно и практически...

Наречия-паразиты облепили мою мысль, и я ее потерял.

— Эх, Вадим, посочувствуй, — сказал вдруг Потапыч Поцелуевскому не без горечи. Кстати говоря, это была первая нотка горечи, уловленная мной за ночь. — Ведь я бы мог сейчас свою машину превратить в игрушку. Глянь, все есть уже у меня для передка, даже облицовка, даже фээргэшные противотуманные фары...

Поцелуевский посмеялся и похлопал Потапыча по плечу:

— Потапыч, Потапыч, ты неисправим. Это ли повод для огорчений?

— А в чем дело? — спросил я тогда Потапыча. — Превращайте ее в игрушку. Что вам мешает?

Со скрипом я открыл свою скособоченную дверь и вылез из машины. Они все повернулись ко мне, словно только сейчас заметили. Я видел удивленные взгляды и слышал даже приглушенные смешки, как будто я нарушил какой-то этикет и явился вроде бы туда, куда мне не по чину. Один лишь хитрюга Потапыч, копаясь в своих брезентовых анналах, не обратил на меня особого внимания и принял вполне естественно.

— Да на кой она мне сейчас ляд, эта игрушка, — пробормотал он. — Конечно, Оскарыч, это не повод, а малость жалко — запчастей-то навалом... -- Он завязал мешок аккуратненьким ремешком и тогда только посмотрел на меня. — А ты, друг, чем-нибудь интересуешься или сам чего привез? Ты из какой больницы-то?

— Да я не из больницы...

— Прямо с шоссе, значит? У нас тут есть некоторые прямо с шоссе. Вот, например, Слава Баранов — Славик, ты здесь? — с Лоуренсом лоб в лоб сошлись на четыреста третьем километре. Славка сра-

зу отлетел, а Иен еще на операционном столе мучился. А ты, парень, где же кокнулся? Что-то я тебя...

— Да что вы, Потапыч, не видите, что ли? — сказала с досадой на быстром подходе с разлетом юбочки и взмахом сумочки Лариса Лихих.

— Эге, да ты... — Потапыч даже рот открыл от удивления. — А ты-то как сюда попал?

— Меня непосредственно майор Калюжный... — начал было я объяснять, но тут и меня осенила наконец догадка: — А вы, значит, все...

— Угадал, — с добродушным небрежным смешком, потряхивая в ладони пятиваттные лампочки и не слезая с капота сгоревшего „Запорожца”, проговорил Гоша Славнищев. — Мы они самые, жмурики.

— Мы все жертвы автодорожных происшествий со смертельным исходом, — солидно пояснил Вадим Оскарович Поцелуевский.

— Понятно. Благодарю. Теперь мне все понятно... — Я почему-то не нашел ничего лучше как отвесить всем собравшимся на штрафной площадке несколько светских поклонов, а потом повернулся к хитрюге Потапычу: — Простите, Потапыч, я невольно подслушал, у вас, кажется, есть в наличии пара острордефицитных задних амортизаторов? Не уступите ли?

Теперь все смотрели на меня с добродушными улыбками, как на неразумное дитя.

— Шел бы ты, друг, в свою машину, ложился бы ты спать, — сказал кто-то, то ли Лоуренс, то ли Марат.

— Вы не думайте, Потапыч, у меня есть кое-что на обмен, — сказал я, уже понимая, что леплю вздор, но все пытаюсь нащупать какую-нибудь возможность контакта. — Например, японское электронное зажигание или... скажем... я наличными могу заплатить...

Призраки — а ведь именно призраки с нашей точки зрения это и были — засмеялись. Не страшно, не больно, не обидно.

— Иди спать, милоч, — сказал Потапыч. — Здесь пока что ваши вещи не ходють.

Я повернулся тогда и пошел к своей машине, в которой гостеприимно светился под луной смятый и превращенный в подушку плащ. На полпути я все-таки обернулся и увидел, что они уже забыли про меня и снова занимаются своими делами — возятся с запчастями, вулканизируют резину, рассказывают друг другу какие-то истории, покуривают, кто-то играет на гитаре...

— Простите, я хотел бы спросить, — что там, откуда вы приходите? Есть ли смысл в словах Эврипида „быть может, жизнь — это смерть, а смерть — это жизнь”?

Движение на штрафной площадке остановилось и наступила тишина. Зарница, пролетевшая над городом, на миг озарила их всех — пассажиров и водителей, собравшихся как будто для коллективного снимка.

— Иди спать, — сказал Гоша.

— Идите спать, — посоветовала Нина Степановна Черезподольская.

— Не вашего пока что ума это дело, — без высокомерия, с неожиданной грустью сказал Потапыч, похожий сейчас, под зарницей, на старца Гёте.

Тогда уж я, больше ни о чем не спрашивая, влез в свою машину на заднее сиденье, подоткнул под голову плащ, ноги завалил на спинку переднего кресла и тут же заснул.

Мне снилась чудесная пора жизни, которая то ли была, то ли есть, то ли будет. Я был полноправной частью той поры, а может быть, даже ее центром. У той поры был берег моря, и я носился скачками по

ноздреватому плотному песку и наслаждался своим искусством, своим жанром, своим умением мгновенно вздуть огромный, приподнимающий над землей зонтик и тут же подбросить в воздух левой рукой пять разноцветных бутылок, а правой пять разноцветных тарелок и все перемешать, и все тут же поймать, и все превратить частью в литеры, частью в нотные знаки, и всех мгновенно рассмешить, ничего не стыдясь. У той поры был уходящий в высоту крутой берег с пучками сосен, домом из яркого серого камня на самом верху и с женщиной на веранде, с женщиной, у которой все на ветру трепетало, полоскалось, все очищалось и летело — волосы, платье, шарф. Счастливо с нее слетала вязаная шапочка, и она счастливо ее ловила. Это было непрекращающееся мгновение, непрерывная чудесная пора жизни. На горизонте из прозрачного океана уступами поднимался город-остров, и это была цель дальнейшего путешествия. Я радовался, что у меня есть цель дальнейшего путешествия, и одновременно наслаждался прибытием, ибо уже прибыл. Где-то за спиной я видел или чувствовал завитки распаренной на солнце асфальтовой дороги, и оттуда, из прошлого, долетала до ноздрей горьковатость распаренного асфальта, сладковатость бензина и хлорвинила. Это было наконец-то непрекращающееся мгновение в прочном пространстве, частью которого я стал. Все три наших печали, прошлое, настоящее и будущее, сошлись в чудесную пору жизни.

Пробуждение тоже было не лишено приятности.

Заря освещала верхние этажи далекой городской стены. Роса покрывала стены, сорную траву и металллом штрафной площадки. Поеживаясь от утреннего холодка, перед моей машиной стояли три чудесных офицера. Майор Калюжный предлагал для ознакомления свежую газету. Капитан Пуришкевич

принес на подпись акт моего злосчастливого, но вовсе не такого уж и трагического ДТП. Старший лейтенант Сайко — ну что за душа у парня! — застенчиво предлагал бутылку кефира и круглую булочку.

Скрипнула дверь, и в штрафную площадку влез сначала шнобелем, потом всей будкой, а потом и непосредственно собственной персоной мастер — золотые руки Ефим Михин с необходимым инструментом.

— Видишь, артист-шулулуев, я тебе патрубков-сулутрубков достал. Сейчас я его в твою тачку задрыдачу — и поедешь дальше к туруруям ишачьим искать приключений на собственную шерупу.

...Итак все обошлось, только довольно долго еще побаливали шейные позвонки.

#### СЦЕНА. НОМЕР ПЕРВЫЙ: „ПО ОТНОШЕНИЮ К РИФМЕ“

*Павел Дуров импровизирует перед немногочисленной аудиторией знатоков.*

...Русская рифма порой кажется клеткой в сравнении с прозой. Дескать, у прозы экое, дескать, свободное течение, разливанное море свободы. Между тем прозаик то и дело давит себе на адамово яблоко — не забывайся, Адам!

По отношению к рифме вечно грызусь черной завистью: какой дает простор! По пятницам в Париже весенней пахнет жижей... Не было бы нужды в рифме, не связался бы Париж в дурацкую пятницу с запахами прошлой весны. Отдавая дань индийской йоге, Павлик часто думал о Ван Гоге. Совсем уж глупое буриме, а между тем контакит! И Павлик появился едва ли не реальный, и дикая произошла связь явлений под фосфорической вспышкой риф-

мовки. Расхлябанный, случайный, по запаху, во мгле поиск созвучий — нечаянные контакты, вспышка воспоминаний, фосфорические картины с запахами. Узлы рифм, склонные вроде бы образовать клетку, становятся флажками свободы.

Рифма — шалунья, лихая проституточка. Уставший от ярма прозаик мечтает о мгновенных, вне логики, вне ratio, связях. Шалунья — колдунья — в соль дуну я — уния. Иногда, когда ловишь вслепую, можно больше поймать горячих и шелковистых.

Литературная амазонка (может быть и мужчина) написала в статье о нуждах прозы: „Четкость критериев, точность ориентиров, ясность истоков”. Бродячий прозаик усомнился. А не пустила ли дама круги по луже? Долго приставал к друзьям, хлюпал носом, клянчил... В результате над средостением появилась татуировка: четкость критериев, точность ориентиров, ясность истоков и надпись: „вот что нас губит”.

Воспоминание бродячего прозаика.

Лило, лило по всей земле... Лило́ или ли́ло? В лиловый цвет на помеле меня вносило. Когда метет, тогда „мелó”, отнюдь не „мéло”. Весной теряешь ремесло. Такое дело.

Двойная норма весенних дождей на фоне недостатка кофеварочных изделий уныло возмущала, но к вечеру на горизонте становилось ало, иллюзии двигались к нам навалом по рельсам, по воздуху, смазанном салом, воображение толпы побежало, и можно три дня рифмовать по вокзалам, навалом наваливаясь на „ало”, но это безнравственное начало, и, с рыси такой перейдя на галоп, я пробую „áло” сменить на „ало́”.

Алло — баллон — салон — рулон — телефон...

Постылая иностранщина! Однако немалые возможности. Берешь, например, телефон и просишь

билеты в обмен на вечерние чудоштиблеты, и если ты „леты” сменяешь на „лату”, тогда и получишь билеты по благу...

Завихренья зелени, завихренья сирени, огненная лиса, несущаяся вдоль полотна от Переделкино к Мичуринцу. Там я бродил в поисках рифмо-отбросов, пока не выписал себе через Литфонд ежедневный обед. Тогда стал получать горяченькое эссе от борща через кашу к кофе-гляссе. Бывало там и салями, если его не съедали сами. Я брал кусочек салями и относил вам, Суламифь. Я видел локон, чуял ток и целовал вас в локоток.

*Фокус разваливался. Пузыри лопались, размокшие фейерверки шипели. Внезапно погас свет, что помогло Дурову избежать объяснений со зрителями.*

## УСЛУГА ЗА УСЛУГУ

Что такое автомобиль? — задал себе вопрос Павел Дуров. Вот именно, частный легковой автомобиль. Сатирическая дерзость „не роскошь, а средство передвижения”, появившись в двадцатые годы, в том же десятилетии и утонула. В недалекие еще пятидесятые автомобиль все еще был не „средством передвижения”, но символом особого могущества, несомненной роскошью и даже отчасти неким вместилищем греха. Только вот сейчас, уже в середине семидесятых, мы можем без боязни сфальшивить задать самому себе простецкий вопрос: что такое автомобиль?

Итак, конечно же, средство передвижения. Автомобиль — это мягкое кресло, на котором ты с большой скоростью передвигаешься в пространстве. Кроме того, ты можешь перевозить в автомобиле свои личные вещи, и необязательно в чемоданах, ты можешь просто набросать их в багажник и салон как попало. Следовательно, автомобиль — это передвигающийся чемодан. Далее, если ты едешь все время в автомобиле, тебе необязательно зимой тяжелую шубу носить, потому что внутри у тебя есть надежная печка. Следовательно, автомобиль — это

еще и шуба, не так ли? Ну что еще? Ну, конечно же, автомобиль — это твой дом, маленький домик на колесах, часть твоей личной защитной сферы, постель, зонтик, галоши... Ну что еще? Итак, автомобиль — это твое кресло, чемодан, шуба, койка, домик, зонтик, галоши и, конечно же, зеркальце для бритья. Да, конечно, автомобиль — это отличное зеркальце для бритья, думал Павел Дуров, сидя рядом со своим автомобилем и намывая щеки перед бортовым зеркальцем заднего вида.

Великолепное место избрал Павел Аполлинарьевич для утреннего блаженства. Высота была метров триста над уровнем моря, а море сияло перед его взором, лежа на собственном уровне, но вполнеба. Здесь извилистая асфальтовая дорога, ограниченная с одной стороны обрывом к морю, а с другой отвесными скалами, позволила себе роскошь — карман в скалах, приют усталого путника, родник, блаженство, непрерывающаяся хрустальная струя меж замшелых зеленоватых камней и никаких ограничительных знаков.

Дуров наслаждался тишиной, одиночеством, пеньем птиц в весенних кустах, бульканьем ручья, солнцем, которое вслед за ходом бритвы гладило его щеки, морем, сверкавшим вполнеба... Наслаждаясь, однако, он, как и подобает современному человеку, иной раз думал с легкой тревогой: „Что же это я — один такой умный?”

И в самом деле — ни одной машины не прошло мимо Дурова, пока он брился. И ночь он спал в этом асфальтовом кармане в полной тишине, если, конечно, не считать криков орлов и сов, доносившихся сверху. Так и было: Дуров был один „такой умный”. Он еще не знал, что ночью сбился с главной дороги, проехал под кирпич и сейчас блаженствовал в запретной для автотранспорта заповедной зоне.

Смешная, согласитесь, картина: блаженствует человек и не подозревает, что над ним навис штраф в солидную сумму, а может быть, и отнятие водительских прав.

Как раз километрах в восьми-десяти отсюда ехал по дороге на мотоцикле егерь заповедника. Уж он-то наверняка бы дуровскую машину или сам задержал, или позвонил на близкий пост ГАИ. Однако встречи Дурова с егерем не произошло, потому что прежде на шоссе появились тетки.

Две тетки с сумками вылезли к роднику, прямо откуда-то снизу, из густого кустарника, которым зарос крутой, местами просто обрывистый склон. Они вылезли и изумленно охнули, когда увидели прямо перед собой спокойный частный автомобильчик и обнаженного по пояс ничего себе паренька (Дуров издали производил именно такое впечатление), который мирно брился, заглядывая в этот автомобильчик. Это была редкая удача для теток, и они заверещали от удовольствия. Дуров же не знал, что это и для него редкая удача, и потому не заверещал.

— А ты бы нас, парень, не подбросил к Феодосии?  
— спросили тетки.

Они были красные, распаренные, одна вроде даже багровая, после подъема. Странно было видеть среди молодой нежнейшей листвы на фоне сверкающего моря этих двух бесформенных теток, одетых еще по-зимнему, перепоясанных шальями, в тяжелых резиновых сапогах и с сумками. У Дурова чуть-чуть испортилось настроение. Присутствие двух больших теток на заднем сиденье ему не улыбалось. Он привык в этот час ехать один, с удовольствием курить и слушать радио, брекфест-шоу с музыкой и разными интервью.

— Вот сейчас добреюсь, потом умоюсь, потом по-

завтракаю, а потом уже поеду, — сказал он теткам без особого привета.

— Ну вот и отлично, мы с тобой поедем.

Тетки приблизились и свалили свои сумки возле переднего правого колеса.

— Охохонюшки-хохо, — сказала одна из теток.

Что означало в данном случае это емкое слово, Дуров не понял.

Вторая тетка вздохнула более осмысленно. Она развязала свою шаль и сбросила ее с плеч. Краем глаза Дуров заметил густые и, пожалуй, даже красивые светло-каштановые волосы. Тетка подняла лицо к солнцу и вздохнула, и этот вздох ее легко читался. Боже мой, вот и опять весна! Боже! Боже! — так можно было прочесть теткин вздох.

Присутствие этих теток смазало дуровский утренний кайф, и вскоре они поехали. Между прочим, за три минуты до того, как выехал из-за поворота егеря заповедника. Три минуты отделяли нашего странника от серьезных неприятностей.

— А ты сам-то куда, парень, едешь? — спросили тетки с заднего сиденья.

— В Керчь, — ответил Дуров.

Он все-таки включил свой брекфест-шоу и слушал сейчас сводку новостей. Все было как обычно, кто-то что-то отверг, кто-то отклонил, кто-то опроверг...

— Ох, машинка-то у тебя хороша, — сказали тетки. — Папина?

— Почему папина? — удивился Дуров. — Моя.

— Где ж ты на машину-то заработал?

До Дурова наконец дошел смысл вопроса. Возраст. Молод, дескать, еще для собственной машины. Тетки не заметили его морщин, а возраст, видимо, прикинули по внешним очертаниям. С ним уже не раз случалось такое, особенно после недельки, про-

веденной на пляже, — какое-то недоразумение с возрастом, казавшееся ему почему-то слегка оскорбительным.

— Заработал, — буркнул он и неожиданно для себя соврал: — Черная Африка.

— Ага, понятно, в Африке заработал. — Тетки были удовлетворены.

„Удачное вранье, — подумал Дуров. — Запомним на будущее”. Черная Африка — и все понятно, вопросов нет. Снимаются всякие там разговоры о возрасте и особенно о профессии. Дуров не любил говорить о своей профессии со случайными людьми. Нет, он не стыдился ее, но она была довольно редкой, можно сказать, исключительной и упоминание о ней неизбежно вызывало вопрос за вопросом и странное покачивание головой, и наконец, когда он заговаривал о своем жанре, следовало „а зачем?”, и тогда уже Дуров в ярости проглатывал язык, потому что не знал зачем.

— А вы, значит, обе в Феодосию? — спросил он, чтобы что-нибудь спросить.

— В Феодосию, в Феодосию, — сказали тетки.

— Я мужика своего ищу, — сказали тетки, вернее одна из них, конечно, одна из них, должно быть, та, с пышной гривой.

— Что? — изумился Дуров.

— Мужик от меня сбежал. Тебе интересно? — весело и быстро проговорила она. — Слушай, парень, давай-ка я к тебе вперед сяду.

Дорога пошла вниз. Открылись больше ярко-серые скалы. Между скалами над морем плавали орлы. Дуров был в замешательстве. Одна из теток перелезала через спинку переднего кресла и вскоре водрузилась рядом, разбросав по коленям полы своего синтетического пальто, шаль, сумку, а волосы раскидав по плечам. Сильно запахло крепкими

сладкими отечественными духами. Что-то странное произошло с этой теткой, какая-то метаморфоза.

— Давай знакомиться. Меня Аллой зовут.

— Павел Дуров.

Был крутой вираж впереди, и потому он только мельком глянул на тетку. Успел заметить довольно привлекательные груди, обтянутые тонкой кофточкой. Тетка вылезала из своих одежек, обнаруживая внутри, за всеми этими капустными листьями, за шалью, за синтетическим, подбитым поролоном пальто, за двумя крупновязаными кофтами, себя самую, то есть вовсе и не тетку, а скорее девку.

— Ты, может, моряк? Дай сигарету!

Просьба, последовавшая сразу за вопросом, избавила Дурова от необходимости врать. Он протянул сигареты, потом показал на зажигалку. (Автомобиль — это еще и зажигалка для сигарет!) Она умело закурила и затянулась, явно предвкушая длительную и обстоятельную беседу.

— Есть у меня моряк, Славик. Высокий, красивый, в загранку ходит, исключительный парень.

На подъеме Дуров покосился внимательнее. Она курила с удовольствием. Выпуклые светлые глаза, попавшие под солнце, казались стеклянными, но на щеке трогательно и живо подрагивал каштановый завиток.

— Так это Славик сбежал от... тебя?

Дуров нелегко переходил с людьми на „ты”, тем более не любил случайных с-понтон-свойских отношений, но сейчас почувствовал, что „вы” обидело бы попутчицу.

Может быть, и Алла почувствовала, как он преодолел какой-то серьезный для себя барьер, потому что обрадовалась его вопросу и затараторила:

— Ну что ты, Паша! Славик за мной как пудель на край света пойдет, только свистну! Что, не веришь?

Думаешь, я всегда такая тега? Знаешь, подмажусь, причесочку заделаю, брючный костюм, платформы — кадр в порядке! Я пивом на автостанции торгую. В кавалерах недостатка не испытываю. Это от меня не Славик, а Николай, пьянь паршивая, смотался! Смотался — и с концами, ну что ты скажешь, Паша, а?

Дуров заметил уже, что случайные попутчики, попадая в автомобиль, вдруг ни с того ни с сего начинают выкладывать подробности своей жизни, подчас весьма интимные. Ему это было не очень-то по душе. Ему казалось, что в ответ на свои откровения попутчики ждут и от него чего-то в этом роде. Неискушенная душа, Павел Дуров не сразу понял, что людям его тайны совершенно не нужны. Случайный попутчик в автомобиле торопится выложить свои беды, а порой и грехи свои, имея в виду, что скорость современных автомобилей и разветвленность автотрасс обеспечат тайну исповеди. Да, по сути дела, это были как бы исповеди в темноте, но он не сразу разобрался в этом явлении. Во всяком случае, он этого не любил.

— А что... прическа? Ты, наверное, Алла, вверх все начесываешь, да? Такой как бы башней? — спросил он.

Ну что это за вздор? Что это он о прическе заговорил с незнакомой бабой? Ах да, для того чтобы она о своем Николае ничего ему не выкладывала. Славик какой-то да еще Николай — к чему Дурову эти люди?

— Точно, Паша! — Она засмеялась. — Так получается очень эффектно!

— Знаешь, я бы тебе посоветовал не начесывать, а вот просто так, гладко, знаешь ли... ну, просто вниз... вот в принципе как сейчас...

— Ты так считаешь?! — Она была поражена. По-

вернулась к нему на сиденье, но не смотрела, а вся как бы ушла в себя, потрясенная этим косноязычным советом. — Значит, просто вниз, вот так, да? — Толстые ее пальцы с облупленным маникюром трогали волосы. — Значит, ты считаешь, мне так личит, а? Много более женственно, ага? Ты серьезно, Паша?

Дорога все больше уходила вниз и в сторону от моря. Наконец до Дурова дошло, почему такое безлюдное, тихое шоссе. Заповедник! Он заторопился, стал поджимать на газок и на поворотах прижиматься к внутренней дуге, короче говоря, поехал „активно“. Вскоре они проскочили щиты с заповедями заповедника, запрещающие знаки, поднятый шлагбаум. Дуров передохнул — пронесло!

Немедленно после шлагбаума началась реальная дорога. С какой-то стройки на шоссе в тучах пыли выезжала колонна самосвалов. Они не желали считаться с правилами преимущественного проезда и выезжали один за другим, обдавая затормозивший „фиат“ пылью, оглушая грохотом, в общем, шуровали по принципу „у кого железа больше, тот и прав“.

Дуров начал уже злиться, но потом, когда все самосвалы выехали на шоссе, он разогнался и стал их щелкать одного за другим, пошел вдоль всего ряда, быстро обогнал колонну, что называется, сделал их, и оттого настроение у него подскочило на несколько градусов, хотя, конечно, повод для радости был глупейший.

Справа проплыл, как всегда, миражный силуэт Генуэзской крепости. За башнями еще сверкали куски моря. Заправляться не нужно? Нет, лучше проскочить эту бензоколонку, здесь уже собралась компания — за час не расхлебашь. Навстречу прощелкивали все чаще и чаще разноцветные „Жигули“. Все больше и больше автобусов и грузовиков.

Как же ты, черт, выходишь на обгон? Ты что, меня не видишь? Просигналить ему фарами. То-то, спрятался.

Выше, выше, вот перевал и снова вниз.

Боже, какая чудесная земля! Холмистая золотая долина лежала внизу, а справа, там, где только что были море и крепость, стояли зубчатые скалы. Он с удовольствием спускался, как бы внедрялся в нежную золотистую долину, хотя и понимал, что с каждой сотней метров теряет перспективу.

...а это уже потом Ашотик мне бацнул что видел Кольку в обсерватории я сразу тогда сумки-то собрала и ходу сюда в заповедник потому что Паша дорогой больше всего боюсь как бы этот дурак опять за руль не сел в прошлый-то раз тоже так началось за руль дескать сяду у меня мол первый класс а как банку возьмет так он и гонщик мастер спорта чемпион Европы так он тогда и поездил в Джанкое может неделю или меньше а потом от милиции драпал а я уж его в Кременчуге подобрала практически без штанов так кой-чего на жопе висело а еще опять же гордость показывал и демонстрировал свое превосходство ты говорит Алка захлебнешься в своем пиве а стихов Есенина не знаешь и душу русского человека вы южные бабы не поймете ты понял Паша как будто мы не русские по крайней мере какая же это говорю Николай польза человечеству от твоего первого класса и твоей души ты посмотри какие русские люди повсюду творят чудеса как помогаем разным многочисленным народам а ты практически в стороне от всего вытягиваешь последние капельки из бутылки роняешь мужское достоинство и вот теперь Ашот Заказанян он газовые баллоны возит сообщил мне местонахождение ну думаю конец обсерватория-то там внизу у самого моря а дороги крутые узкие все думаю пришел

моему мастеру спорта финал собралась сюда с сумками а здесь его и след простыл и ребята из гаража всю ночь приставали с дурацкими предложениями а утром завгар сказал что на третий же день он и попер Николая из своего астрономического хозяйства а сейчас единственная возможность что может быть он в Феодосии ошивается у своего кореша по авиации Степки Никоненко если оба не загазовали а как загазуют так черт знает где могут оказаться хоть на Сахалине...

Дуров понял, что она всю эту драматическую историю начала еще в заповеднике и продолжала все время, пока они проезжали через город, мимо крепости и бензоколонки, а он ничего не слышал и вот только здесь уже, в золотой долине, подключился, но, кажется, вовремя. Во всяком случае, в расстановке сил на арене личной жизни Аллы Филипук, продавца палатки „Пиво — воды”, он, кажется, начинает разбираться. Он засмеялся.

— Напрасно смеешься. Дело не смешное, — быстро и сердито произнесла Алла, но потом, вспомнив, видимо, что Паша ей чужой человек, тоже облегченно засмеялась. — Значит, такое выносятся предложение — женственный стиль волос? Все, схвачено, Пашок! Теперь их трогать не буду, отпущу пониже да почаще мыть-мыть, у меня же тут, видишь, волна... видишь, Паша? Ой, Паша, да ведь не девочка же, как я буду с длинными-то волосами ходить при моей попе?

— Ничего, ничего, — ободрил ее Дуров. — Не девочка, но и не тетка ведь старая. Пройдешь.

— Ну... а сколько мне годков кинешь? — вдруг решительно, как в воду головой, спросила Алла.

Дуров тогда еще внимательнее посмотрел на свою попутчицу. Она все больше его забавляла — в самом деле любопытная бабешка! Дуров даже

поймал себя на том, что слегка отвлекся от своего внутреннего вечного „самососания”, от своего испепеляющего эгоизма. Интересен стал даже и дикий ее Николай — чемпион Европы, его слегка заинтересовал и даже стопроцентный Славик. „Она, конечно же, моложе меня, — подумал он. — Хотя у нее и подбородочек имеется, но подбородочек гладенький, а морщины у глаз крупные — от смеха, от слез, а не от мелких возрастных неприятностей”.

— Я, Алла, комплименты делать не умею.

— Нет-нет, ты, Паша, честно говори, как будто врач!

— Тридцать пять, — сказал Дуров, все-таки годика три срезав.

— Ай! — вскрикнула Алла, словно укололась.

Тут вдруг обнаружилась на заднем сиденье вторая тетка, о которой Дуров совсем уже забыл:

— Ты, шофер, трехнулся? Тридцать пять — это мне, бабе никудышной, в среду минуло, а Аллочка наша вполне еще конфетка.

Дуров посмотрел в зеркальце заднего вида на осерчавшее то ли всерьез, то ли в шутку лицо второй пассажирки. Ее-то он полагал вообще пенсионеркой. Невольно, разумеется, вспомнились порхающие в Москве по творческим клубам сорокалетние девочки.

— Ах, неужели, Пашенька, я так уже выгляжу? — с тихим человеческим страданием проговорила Алла. — А ведь мне всего лишь двадцать семь.

Дуров что-то проямлил о своем паршивом зрении, об Аллиных платках, шарфах, кофтах, дескать, они его сбили с толку, и наконец замолчал. Разговор в машине прервался.

Дуров, как ни странно, несколько угрызался, но одновременно и радовался, что с языка не сорвалась „сороковка”. Самому ему почему-то всегда ка-

залось, что сорок человеческих лет — это меньше, чем тридцать пять. Как ни странно, ему так казалось еще до того, как пришел личный опыт, но с Аллой этими заумными соображениями он решил не делиться. Скоро уже Феодосия — и гуд бай с концами!

Вдруг он заметил выросший из круглых нежно-зеленых склонов изломанный гребень ярко-серого цвета. Как всегда неожиданно, на горизонте появилась Сюрю-Кая. Сколько уже раз он въезжал в коктейльское графство и с запада и с востока и всегда готовился увидеть потрясающий силуэт гор, в котором можно разглядеть при желании профили замечательных писателей, и всякий раз Сюрю-Кая поражала неожиданностью. Гора эта — она волновала его.

Они катили через Планерское, когда Алла вдруг закричала:

— Паша, Паша, стой, будь другом! Вон Степка Никоненко идет!

Почему-то Дуров сразу понял о ком речь. По территории поселка среди множества других граждан шел невысокий человек с богатым выгоревшим чубом, в большом пиджаке, надетом на майку, тяжелом черном пиджаке с наградными планками на левой груди и со значками на правой, в пиджаке, быть может, и не собственном, не личном, и в коротковатых, тоже, возможно, не своих брюках. В руке он нес авоську с бутылкой алжирского вина и двумя коробками стирального порошка. Он двигался с неопределенной улыбочкой на устах и с некоторой независимостью в походке, что, возможно, и выделяло его среди многочисленных граждан. Так или иначе, Дуров подрулил прямо к нему и остановился, и Степан Никоненко остановился, ничуть не испугавшись.

— Эй, Степа, где мой Николай у тебя прохлаждается, живой еще? — на одном дыхании выкрикнула Алла, хотя Никоненко стоял рядом и вроде был не глухой.

— Алка, кидать-меня-за-пазуху! — мило удивился Степан. — Вот ты где, девка, за Колей-гопником своим интересуешься!

Говорил он с сильным южным прононсом, и получалось примерно так: „Вот ты хде деука за Колей-хопником...” Оказалось, что с другом Колей они не ладили, почти, можно сказать, полаялись, а может, и стыкнулись малость из-за различия во взглядах на покорение Луны. Коля прибыл из обсерватории с большой астрономической „подготовкой”, но он, Степан Никоненко, тоже не „хала-бала” и требует взаимного уважения, а потому Коля отбыл из Феодосии в Новороссийск, а его, Степу, баба за стиральным порошком в Планерское послала, а он здесь друга встретил, вот пиджачок его, а у вас, товарищ на „Жигулях”, личность очень знакомая, вы, может, в Абрау-Дюрсо работали, нет, не работали? А тогда откуда же? Ага, из Москвы, ну он так и подумал, и не по номеру, а потому, что „ховор какой-то дыкий”. Ну ладно, друг, не обижайся, паркуйся вот там, за павильоном, и пошли по делу. И девчат с собой возьмем, кидать-меня-за-пазуху!

— Симпатичный какой господин, — сказал Дуров Алле, когда они отъехали от Степана Никоненко на полкилометра.

— Зараза он! Губитель моей жизни! — вдруг горячо и горько воскликнула Алла.

— Что так?

— Они с Николаем когда-то вместе в авиации служили, он и сманил его в наши края. Так и свела меня жизнь с негодяем Николаем!

Тогда уж, когда они выехали за пределы блаженного коктебельского графства, Алла, словно отбросив какие-то сомнения, вдруг начала все выкладывать Дурову, всю свою жизнь, всех своих мужчин, разные неудачи и страсти, что терзали ее вот в эту пору, когда ей уже двадцать семь, а глядится она, страшно подумать, на тридцать пять.

Дуров уже не удивлялся самому себе и активно участвовал в разговоре, то есть даже переспрашивал иногда Аллу, уточняя детали. Иной раз он видел в зеркальце заднего обзора лицо второй тетки с открытым ртом и ушками на макушке. Тетка слушала Аллу внимательно. Втроем они доехали почти до Феодосии, до бензоколонки у поворота на Керчь, и здесь тетка с неохотой попрощалась, потому что ей действительно нужно было в Феодосию по серьезному промтоварному делу. Она предлагала Дурову рубль железом и очень настаивала — на пиво, мол, или на табак, — но в конце концов не обиделась, когда при своем рубле и осталась.

— Кто она тебе, Алла? — спросил Дуров.

— А никто. Повариха из обсерватории. Теперь надреплет ребятам там про меня, ну и пусть.

— Скажи, Алла, а почему ты мне все это рассказываешь?

Спросив так, Дуров на попутчицу не посмотрел. Он засунул шланг в бак своей машины и показал заправщице три пальца — тридцать литров.

— Паша, ты в Керчи спать будешь? — спросила Алла и протянула Дурову из машины отличнейший бутерброд с ветчиной.

Это было очень неожиданно, и кстати, и мило. Чудесный был бутерброд — с сочной ветчиной и мягкая булка с хрустящей корочкой.

— В принципе я там развалины хотел посмотреть,

но вообще-то паромом на Кавказ собираюсь, — сказал Дуров.

— Смотри, Паша. Делай как себе удобнѐе, — тихо сказала она и тоже стала есть.

Когда они отъехали от бензоколонки и встали на Керчь, Дуров опять повернулся к Алле:

— Так почему же все-таки, Алла, ты рассказываешь мне всю свою жизнь?

— А я всегда такая дура, — сказала она с досадой и отвернулась.

Пустая степь, унылые холмы лежали теперь по обе стороны шоссе.

— Потому рассказываю, что хочу тебе вопрос задать, — вдруг проговорила она с силой.

После этого возникла некоторая пауза, и Дуров попытался суммировать для себя поток информации, имея в виду предстоящий еще „вопрос”.

В общем, Алла начала свою жизнь очень правильно и самостоятельно, и замуж вышла за хорошего человека, и работала в торговле, и заочно училась в техникуме. Хороший человек дал ей двух детей, двухкомнатную отличную квартиру со всеми удобствами, ковер, пылесос, стиралку, холодильник, телевизор, машина уже была на носу и отличные вообще перспективы, а потом его Алла взяла и турнула. А почему, сама не знаю — просто надоел. Значит, Николай уже появился? Нет, до Николая еще далеко. Тогда вот она начала пивом торговать, в связи с чем появились мужские знакомства. Нет, ты не подумай, что по рукам пошла. Всяких там шакалов Алла отметала автоматически, а знакомства были довольно содержательные, ведь пиво пьют многие, в том числе и интересные люди. В частности, хотя бы Славик. Он очень за ней страдал и сейчас еще страдает, готов немедленно оформить отношения. Он, Славик, моложе Аллы на два года, красивый

штурман, мореходку окончил, по-английски спикает, у девчонок ноги трясутся, когда он по улице идет, джинсы, очки фирменные, усики, но он предпочитает только Аллу с ее двумя детьми и шлет ей радиogramмы со всех морей, а однажды прилетел из Владивостока на два дня. На два дня из Владивостока повидаться — ведь это же настоящая романтика! Столько денег за две ночи, да и то не очень-то удачные — так уж оказалось, — это можно оценить, правда? Она дала ему тогда полное согласие и стала ждать с рейса, а он тем временем из Владивостока пошел на юг и огибал Азию, приближаясь к заветной цели. Да что там говорить, это была настоящая романтика, любая дура бы оценила, но второй такой идиотки, как Алла, видно, еще не родилось, потому что как раз в этот отрезок времени и появился на автостанции проклятый Николай. Чем же он взял? Красивый, что ли? Как ты говоришь, Паша? Стихийная, говоришь, анархическая натура? Никакой у него вообще нет натуры, один перегар. Обезьяна старая, а не мужчина! Вот и ответь мне, пожалуйста, Паша, почему я всех своих денежных и солидных позабыла, на красавцев не хочу и смотреть, а за этой обезьяной вою от тоски, езжу повсюду, ищу алкаша и жизни себе не представляю без его опухшей будки?

— Это и есть твой вопрос? — спросил Дуров.

— Это и есть.

— Любовь, должно быть. Ты просто-напросто любишь твоего Николая. Так мне кажется.

— Вот это и ответ, — неопределенно покачала она головой. — Любовь, значит, зла, полюбишь и козла?

Она потускнела и стала курить одну сигарету за другой, и беседа пошла сбивчивая и на какие-то все неважные боковые темы: а что, мол, у вас в Москве, можно ли, к примеру, купить в столице эlegant-

ную вещь, ну, скажем, красивый парик? — и так далее. Дурову показалось, что он своим ответом как-то подорвал у Аллы доверие к себе. Это его развеселило. Он зло улыбался и думал, какие, оказывается, страсти-мордасти бушуют в пивных ларьках, и это, безусловно, говорит о возросших запросах, о том, что принцессы торговой сети уже перешагнули ступень первичного насыщения. В этом уже есть нечто дворянское, думал он. Это что-то вроде фигурного катания, так он думал. Порядком уже надоела эта чушь, зло улыбался он, не сознаваясь самому себе, что злится из-за того, что контакт между ним и попутчицей вдруг прервался.

Начались уже пыльные невразумительные окраины Керчи, и Дуров все крутил и крутил по ним на стрелку указателя „к парому”, опять же не сознаваясь самому себе, что только из-за Аллы он и собирается прямо сейчас переплыть Керченский пролив, потому что ей нужно в Новороссийск, и уверяя себя, что он вовсе и не собирался сегодня шляться по развалинам и что ему самому как раз необходимо поскорее оказаться на кавказской земле. Так он и въехал в очередь машин, ожидавших парома из Тамани.

Алла попросила у него пару двушек для телефона и вышла из машины. Он почему-то подумал, что она впервые за все их путешествие вышла из машины и теперь он сможет рассмотреть повнимательнее ее фигуру. Однако он не стал смотреть ей вслед, потому что его посетило вдруг нечто совсем уж неожиданное — сильное желание. Это совсем разозлило его. „Да ты посмотри, посмотри на коровицу, — говорил он себе, — мигом излечишься”. Однако он не смотрел, потому что знал — какая бы там ни была у нее „попа”, он все равно будет ее желать, и все больше и больше. Что за вздор! Какая бессмысли-

ца! Из свободного одинокого путника, который так блаженно сегодня брился в заповеднике, он стал сначала исповедником, а потом и просто шофером дикой бабы, а теперь, возжелав ее, он уже и совсем закабалится. Мысль о неожиданной кабале просто взбесила Дурова. „Возьму сейчас развернусь и слиняю! А шмотки ее куда же? Все эти платки, шали, пальто, сумки, сапоги резиновые? Да что за дикость — просто хомут на себя надел!” Дуров, между прочим, всегда злился, когда жизнь предлагала ему повороты, не предугаданные искусством, абсурдные, дурацкие, будто бы отвергающие всю его артистическую природу, смысл его работы, весь его „жанр”.

Алла Филипук вышла из-за угла и теперь приближалась. Походочка! Он отвернулся, развалился на сиденье, закрыл глаза. Открылась дверца, машина качнулась, уселась красавица.

— Нет, Паша, это не любовь, — торжественно заговорила она. — Любовь — это когда чувствуешь к человеку уважение, гордишься его успехами, живешь с ним одними интересами, общим делом...

— Это где ты прочла? — спросил он, не открывая глаза. — В газете? В „Черноморской здравнице”?

Алла Филипук внимательно посмотрела на незнакомого мужчину, которого несколько часов называла Пашей. Что-то новое появилось в его голосе. Глаза закрыты, рот презрительный, а на горле хрящик гуляет вверх-вниз. Вдруг она сильно обиделась на него:

— Напрасно вы так. Я понимаю, что вы имеете... Напрасно вы...

Сзади загудело сразу несколько машин. Погрузка на паром началась.

Моря они во время переезда через Керченский пролив не увидели ни клочка: слева вплотную стоял рефрижератор, справа тягач, сзади и спереди ав-

тобусы. Чайки, правда, летали над паромом в большом количестве и суматохой своей как бы отражали сверкающее море.

— Ну что, дозвонишься ты кому звонила? — спросил Дуров. — Узнала про Николая?

Он очень боялся, что она поймет его состояние, и потому как-то грубовато форсировал голос и фальшивил.

— Дозвонишься. Узнала. — Алла, в свою очередь, боялась показать, что все прекрасно понимает, старалась отвечать безучастно, а получалось как-то напряженно, вроде бы с вызовом, едва ли не с кокетством. — Видели его в Керчи. Говорят, что какой-то чудак с земснаряда его с собой увез. Они где-то там, уже за Новороссийском, за Цемзаводом у берега стоят. Воображаю, какая там собралась гопка!

За проливом снова началась плоская земля и ровная лента шоссе. Дуров старался ехать „активно“, все время шел на обгоны, старался скоростью выбить наваждение, и, кажется, немного получалось. Алла же, сообразив, что опасность вроде бы миновала, и, конечно, несколько разочаровавшись, теперь томно раскисла в кресле и снова перешла на свойский тон и задавала Дурову какие-то пустые, мало ее интересующие вопросы:

— А ты, Паша, если не секрет, кто по профессии?

— Я фокусник.

— Да ну тебя! А серьезно?

— Артист.

— Да ну тебя! А точнее?

— Фокусник.

— Да ну тебя!

К Новороссийску они приблизились уже в сумерках, проехали через город, шоссе стало забирать выше, выше, внизу на поверхности бухты там и сям стояли огромные ярко освещенные танкеры, бухта

и ближнее море были полны движения, блуждающих огней, закат догорал двумя широкими раскаленными шпалами, все настроение вечера было каким-то странно праздничным, будто перед балом.

— Вот здесь, Пашенька, милый, я тебя покину, — вдруг тихо сказал Алла Филипук.

Дуров диковато глянул на нее. Он только что собрался дизельный „МАЗ” обгонять и уже показывал левой мигалкой, но тут затормозил и пошел к обочине, мигая правой. Сзади, конечно, в него чуть не въехала какая-то железка, а в нее следующая и так далее, но когда он остановился, вся куча железа с диким ревом пронеслась мимо так, что он даже и мата не услышал.

Алла возилась в темноте со своими тряпками, собирала сумки.

— Вот здесь, Пашенька, дорогой, ты наконец от меня избавишься... — приговаривала она.

Он зажег свет в машине и отвернулся, чтобы не видеть ее белой шеи и мягкой складочки под углом челюсти.

— А все-таки я думаю, что помогаю Николаю из-за чувства гуманизма! — вдруг громко и снова почти торжественно заявила она. — Хочу его поднять, протянуть ему руку помощи, чтобы и он стал полноправным членом общества, человеком, короче говоря. Что же ты, Павел, молчишь и отворачиваешься?

— Прости, Алла, но тошно слушать, — сказал Дуров. — Зачем ты мне-то баки забиваешь, случайному попутчику? Может быть, себя саму обмануть хочешь?

Она вдруг то ли всхлипнула, то ли носом шмыгнула, вылезла из машины, но не уходила и дверь не закрывала и вдруг нагнулась и влезла в машину всей своей круглой и сладкой — да, сладкой — физиономией.

— Да что уж там, скажу тебе, Паша. Конечно же, ничего я до Кольки проклятого не чувствовала. Хоть и двух деток родила, а мужика не знала. Так лежит на тебе какая-то тяжесть, дышит, цапает... Ничего не чувствовала, глухая была к этому делу. Колька-паразит меня бабой сделал. Вот тебе, Паша, значит, вся и тайна... Вот и все...

Она быстро-быстро обвела глазами лицо Дурова, его плечи, руки... потом всю машину, будто искала что-то или запоминала. „Ну, — сказал себе Дуров, — втащи ее сейчас внутрь, нечего церемониться, ты сгоришь, если ее не втащишь, и до Сухуми не доедешь”.

— До свидания, Паша, — сказала она. — Спасибо тебе. Заезжай пиво пить, ты знаешь где.

— До свидания, Алла. Обязательно заеду.

Он думал, глядя на нее: „Ну вот, эй ты, Дуров, попробуй применить свой шарлатанский жанр, попробуй найти гармонии — эй, ты боишься? — попробуй вообразить, что там будет дальше”. Он резко взял с места.

...Она еще постояла у обочины в кустах, глядя, как быстро взлетают в темноту красные фонари машины. Потом они исчезли, значит, пошли вниз, к виражу. Исчезли из виду совсем.

Тогда она стала спускаться к морю. Верно, неверно ли шла — она не знала. Огромная зеленая глубина ждала ее внизу. Сквозь путаницу кустарника светилась глубь, глубизна, бездонная зелень. Гольий высокий платан стоял на краю обрыва словно чья-то душа. Гравий осыпался под ногами.

Очень точно она вышла к сонному заливику, в котором темными тушами покачивался плавотряд. Самая преобладающая штука с контурами непонятных механизмов — земснаряд. Рядом, как щучка, незагруженная шаланда „Баллада”. С другого бока при-

ткнулся хмурый боровок — портовый буксир „Алмаз”. С буксира на землечерпалку, с нее на шаланду, а оттуда на берег перекинуты трапики.

Наверху рычало шоссе, а здесь была тишина. Слышно, как трапики скрипят под ногами. Темно на кораблях. Есть тут кто-нибудь живой? И вахтенных не видать. Все, конечно, косые, в койках прохлаждаются.

Прямо на трапике Аллу осенила идея — переобуться. „Сапоги резиновые в сумку суну, а на ноги чешские платформы. Конечно, к Николаю хоть в лаптях, хоть в золотых туфельках — он все равно не заметит”. Это она только для себя лично, для женского достоинства, лично для себя. От ее манипуляций трапик расшатался, и сапоги бухнули в воду. Один сразу ко дну пошел, а второй еще долго торжественно сопротивлялся. Она уже была на палубе земснаряда, а сапог еще торчал из воды, как труба броненосца. Эй, живые тут есть? Никто не откликнулся.

В глубинах земснаряда кое-где горело электричество, а откуда-то, прямо как из преисподней, доносились глухие голоса. Между тем Николай Соловейкин, худой как волк, совсем неподалеку, в ржавой подсобке, точил зубило. Точил ни Богу, ни народу не нужное зубило лишь только для того, чтобы выжить у себя сильные стороны натуры.

Алла Филипук заглянула в иллюминатор:

— Здравствуй, Соловейкин!

— Здравствуйте, Аллочка!

Она смотрела на ужасное лицо. Такое лицо, конечно, разрушает целиком всю личность человека.

— А я тебе, Соловейкин, бритву привезла!

— А на хрена мне, Алла, твоя бритва с переменным током?

— Это механическая бритва „Спутник”. Заводишь, как будильник, и броешься.

Он фуганул тогда зубило на железный пол, ящички какие-то шмальные начал шмонать, вроде что-то искал, а сам только нервы успокаивал. Нервы сразу, гады, взбесились, как появилась в иллюминаторе сладкая Алкина внешность. Сладкая тяга прошла по пояснице.

— Заходите, мадам, сюда-сюда.. приют убогого чухонца...

В подсобке запылало взволнованное женское тело.

— Вот, Коля, смотри, какая бритвочка аккуратенькая! Заводишь ее, как будильник...

— Ну, поставь его на полшестого...

— Да это ж, Коля, не будильник же... бритвочка...

— Поставь этот будильник на полшестого, говорю! Чтоб не проспять — мне к министру с докладом!

— Да Коля же! Да хоть окошко-то закрой! Свет-то, свет-то выруби, сумасшедший...

В конце недельных Коли Соловейкина приключений, после бесконечных восторгов, отлетов, улетов, мужских прений с рыготинной, махаловок, побегаловок, всякого разнообразия напитков, в конце всей этой свободы руки и ноги у него очень слабели, голова весьма слабела также, но в крестце появлялась исключительная тяга, совершенно удивительная бесконечная тяга. Выдающийся генератор. Даже так случалось иногда, что измученное тобой существо засыпает, а ты все еще в активе, хотя у головы твоей имеется тенденция взлететь к потолку, как дурацкий первомайский шарик. „Хочешь еще чего-нибудь? Может, еще чего-нибудь хочешь?“ Какого большого достатка эта горячая, медленно остывающая гражданка. Уже два года Николай Соловейкин убегает от этой гражданки и все не перестает удивляться ее достатку. Большого достатка и тепла эта Алла Филипук, передовая женщина своего времени.

Когда сидишь в ее раю, тебе свобода не мила, когда сидишь в ее раю, в достатке южного тепла. Вот эта тяга у меня пошла от авиации, от привычки к реактивным двигателям, а не от другого. Вибрация тому виной, вибрация горячего металла. Есть одна у летчика мечта — высота...

Николай Соловейкин освободил спящую Аллу, встал и погрозил ей пальцем. Услуга за услугу — усекла Алка? Одной рукой он взял механическую бритву, а другой потянул „молнию” на Алкиной сумке — быть может, среди всеобщего блаженства найдется и для него капля?

Одной рукой он брил себе правую щеку, другой пил горячительный напиток. Ситуация была клевая — обе руки при деле. Бездушный механизм освежал правую щеку сидящего на полу живого человека. Горячительный напиток охлаждал догоравшие внутренности. Рядом в волшебном достатке спала Филиппук Алла Константиновна, будто герцогиня в пуховой спальне.

Соловейкин встал и перешагнул порог. Железная дверь осталась за его спиной качаться и отражать луну. Луна повсюду отражалась: и в тусклом крашеном железе, и в стеклах, и в море, и даже в голом нищенском животе пролетария Николая Соловейкина. Он прошел на корму, если можно так назвать хвостовую часть землеройного плавающего агрегата, и сел там, свесив ноги к скользкой поверхности воды. Экая вода, экое море, Понт, кидать-меня-запазуху, Евксинский. Это просто искусственный лед спортивного дворца. Господь Бог предоставил мыслящему человечеству свой спортивный дворец. На одну ночь. Потанцуй на нем свой стремительный танец и получишь шестерку и очко. Большая перед нами дорога, куда уплывали наши деды. Враки, что они никуда не уплывали, а только



СЦЕНА. НОМЕР ВТОРОЙ:  
„САВАСАНА. ПОЗА АБСОЛЮТНОГО ПОКОЯ”

*Павел Дуров импровизирует с путевкой общества „Знание” в кармане.*

Начнем, как в классике, с маленькой драмы. Действующие лица Артист и Йог.

*Артист.* Превратиться в облако, в бессмысленный пар?

*Йог.* Очень рекомендую.

*Артист.* Но что же тогда с кипением, с творческим мускусным началом, с рычанием, с этими абордажами, с тяжелыми сундуками ретроспектив — растворится все, что ли?

*Йог.* Вот именно.

*Артист.* Нет, не отдам Прометеева огня, вечного источника любви, компрессии, вдохновения! Лучше пристрелю искusstителя! (*Стреляет.*)

*Йог.* Ваши пули у меня под лопаткой.

*Пауза*

Прозаик — завистливое животное. Даже в концентрированной системе драмы мнится ему недоступная его жанру красота, он завидует скобкам, и в глупой ремарке („стреляет”) воображается ему вольная проза, что, постукивая копытами по льду, идет, как взбунтовавшийся кавалерийский полк, размахивая значками и шапками в ритме медленного буги. От ремарки же „пауза” просто холодеет пузо.

Артист плыл, раскинув руки, над малыми странами Европы. Гляньте, что за облако, шептались в Монте-Карло, форма, цвет и качество, будто кант из марли. Нежен лик безбрачия, вот учитесь, воры, умилялась публика чопорной Андорры. Он этому

не внимал. Волны праны протекали через него. Он уже не ощущал себя облаком, поскольку не ощущает же себя облако.

Между тем внизу малые страны Европы разбросаны были, как цыганские сласти на драной скатерти континента: Монте-Карло, Сан-Марино, Лихтенштейн, Тьмутаракань, Шпицберген... Геноссе публикум, покупай, не клянчь! Одна страна, как бубликум, другая, как кала (н) ч!

Струя отдаленной иронии, именуемая еще праной, покачивала то, что прежде было Артистом. Так продолжалось бы вечно, увы... все эти лоскутные монархии, карликовые княжества и опереточные республики выделяли застойную мольбу, переспелые надежды, и весь этот пар охлаждался на крыльшках облаковидного Артиста и превращал его в тучу, которая в конце концов пролилась в Европу. Всей-то радости всего-то было — зрелище мокрой зеленой земли, минутное превращение геополитики в простой ландшафт, но все-таки...

*Йог.* Вставайте. Теперь вы уже не облако.

*Артист.* Кто же? Если не облако, то кто же я?

*Йог молчит.*

*Аплодисменты. Наконец-то! Аплодисменты? Свист. Крик: „Сапожники!“ Выходит, пленка порвалась? Выходит, „кина не будет“?*

*Путевка не подписана.*

## ВНЕ СЕЗОНА

— Ну, скажи, а как ты половинные триоли играешь?

— Как? Вот так... та-да-да-ди-ди... Понял?

— А на три четверти?

— Та-да-да-ди-ди-да-да... Понял?

Такого рода разговоры вот уже полчаса досаждали нам, хотя и не видно было, что за музыканты беседуют. Мы сидели в так называемой климатической кабинке на пляже в Сочи. Был конец февраля. Солнце гуляло веселое, море, как говорится, смеялось, и в климатической кабинке, которая закрывала нас от ветра с трех сторон, казалось, что вокруг июль. Холщовые стенки, однако, несколько не предохраняли от звуков, и поэтому нам уже полчаса досаждали лабухи. Они подошли откуда-то сзади и расположились вплотную к нашей кабинке, чуть на голову нам не сели. В том, что это именно лабухи, трудно было усомниться. Они громко, на весь пляж разговаривали о своих триолях и половинных нотах, о каких-то росконцертовских интригах, и в эти основные их темы иной раз сквознячками залетали обрывистые фразы о девчонках, о фирменных вещичках, о каком-то Адике, который все никак

не может со своим арбузом расстаться, не двигается, лежа кайф ловит, жрет мучное, арбуз отрастил пуда на два, так что даже перкаши трясти ему трудно...

Когда-то, лет пятнадцать назад, я водил дружбу с этим народом и по молодости лет восхищался их сленгом и манерой жить. Конечно, и музыкой их я восхищался, можно сказать, просто жил в музыке тех лет, но времена джазового штурма прошли, исчез из жизни герой моей молодости, я потерял своих музыкантов и вот теперь удивлялся живучести того давнего сленга. Оказывается, они до сих пор говорят „чувак”, „лабать”, „кочумай” и так далее. Голоса были громкие, уверенные, очень московские. Без сомнения, московская шайка расположилась рядом с нами.

Между тем мне совсем ни к черту не нужны были ни сами эти шумные соседи, ни наблюдение над ними, ни воспоминания об их предтечах. Со мной рядом в климатической кабинке загорала милая женщина Екатерина, и мне больше всего хотелось быть с ней наедине и продолжать тихую юмористическую беседу, легкий такой разговор, вроде бы ни к чему не обязывающий, но на самом деле похожий на ненавязчивую взаимную рекогносцировку, выяснение интересов, вкусов, симпатий.

Мы познакомились вчера в подогреваемом бассейне, случайно, слово за слово зацепились, и вдруг выяснилось, что даже знаем немного друг друга, что где-то в Москве „пересекались”. Екатерина была здесь одна, жила в санатории и лечила на Мацесте какую-то свою „старинную болячку”, как она выразилась.

— Вот ведь черти какие! Слышите, Екатерина?

Рядом галька гремела, пересыпалась под ногами лабухов. Они там развозились, взялись вроде с пон-

том играть в футбол, дразнить Адика с его арбузом. Адик этот, оказалось, присутствует. Кто-то из них не удержал равновесия, схватился за нашу климатическую кабинку, и она покачнулась.

— Что за публика бесцеремонная! — возмущился я. — Ох и типы!

— Кажется, вашего цеха люди, Дуров? — с милым лукавством спросила Екатерина. — Или приблизительно вашего?

— О нет! — поспешил возразить я. — Это лабухи, имя им легион, а в моем цехе, наверное, человек пятнадцать, больше не наберется. Раньше нас было больше, но мы вымираем.

— Знаю-знаю, — мило покивала Екатерина. — Я слежу за вашим жанром. Как раз принадлежу к той части населения, которая поддерживает вас своей трудовой копеечкой.

— Это с вашей стороны... — начал было я очередную осторожную шутку, но в это время в климатическую кабинку угодил мяч и я завопил как последний жлоб: — Кончайте, парни! Что за безобразие!

— Пойдемте отсюда, — предложила Екатерина. — Еще подеретесь с ними. Вижу-вижу, что вы храбрый, но я просто замерзла. Еще болячка моя проснется. Пойдемте, Дуров.

— А что за болячка у вас, Екатерина? Радикулит какой-нибудь?

— В этом роде. Не беспокойтесь.

Я стал сворачивать климатическую кабинку и тогда уже разглядел всю гопу. Их было пятеро. Ничего особенного, обыкновенный бит-бит: длинные усы, джинсы, темные очки — обыкновенная такая „группа“ в умеренной цветовой гамме. Трое было тощих, один, вот именно тот Адик, действительно под зеленой английской майкой лелеял бахчевую культуру, а пятый был хоть и старше всех, но сло-

жен отлично, как тренированный теннисист. Парням этим было лет по двадцать пять, один лишь этот пятый был значительно старше, и волосы у него были совсем белые, седые кудри до плеч. Сергей. Только мне пришло в голову это имя, как кто-то крикнул: „Пас, Серго!“ — и седой красавец побежал через пляж, по-дурацки выпятив задницу, изображая, видимо, какого-то футболиста. Как ни странно, я знал когда-то этого альт-саксофониста. Кажется, он играл с Товмасыном или с Брилем. Нет, я слушал его несколько раз в кафе „Темп“ на Миуссах. Да, да, Сергеем его звали. Серго.

Когда мы пошли прочь с пляжа, они все пятеро смотрели на нас, в первую очередь, конечно, на Екатерину, смущенно пересмеивались и перебрасывались мячом.

— Вечно ты, Адик, мешаешь приличным людям кайф ловить, — сказал кто-то из них для смеха.

Потом кто-то из них показал в море, где у края бетонного волнореза подпрыгивал маленький нырок: „Ребята, смотрите, нырок! Доплывешь до нырка? Я... уши отморозишь! Кто у нас самый основной? Кто доплывет? Серго доплывет! Серго, доплывешь? Пусть Адик плывет на своей подушке!“ — и так далее.

Мы поднялись по лестнице к гостинице „Ленинград“, возле которой стоял мой фургон. Есть один ракурс — когда смотришь на „Жигули“ 21-02 сзади и сбоку, он кажется очень большим и солидным автомобилем, нечто вроде „лендровера“. С этого ракурса сейчас мы и приближались к машине. Заднее сиденье у меня было отброшено и превращено в платформу, а на ней стояли ящики и лежали яркие целлофановые мешки с реквизитом. Чрезвычайно солидный кар!

— Что вы там возите? — спросила Екатерина.

— Реквизит. Только лишь самое необходимое.

— Разве вы здесь по делу?

— Нет, но люди нашего шутовского жанра всегда берут с собой свой реквизит. Конечно, только лишь самое необходимое.

— Не понимаю, зачем вы едете сюда из Москвы автомобилем? Ведь по всей России снег, заносы...

— Я сам не понимаю.

— Вы позер, Дуров?

— Конечно.

Так, посмеиваясь, мы забрались в изделие волжских автоумельцев, я отвез Екатерину на процедуры, и мы расстались до вечера. Я отправился в гостиницу и стал читать занятную книгу, малосерьезную инструкцию по нашему жанру с цветными вклейками-репродукциями из Босха, Кранаха и Брейгеля, вроде бы совершенно не относящимися к делу, но неожиданно освещающими наше не очень-то почтенное ремесло бликами смысла.

Между тем на пляже музыканты вконец разгулялись. Они толкали друг друга в воду. Ну давай плыви до нырка и обратно! Давай заложимся на коньяк, тогда и поплыву! Давай заложимся! Ага, боишься? Ребята, Серго боится яуши обморозить! Пусть Адька плывет, у него яуши жирком утепленные! А кто у нас самый основной, самый молодой — Серго у нас самый молодой, самый основной! А кто у нас самый мощный, самый жирный — Адик у нас самый жирный!

Три гитариста — Шурик, Толик и Гарик, — с их волосами и бородками похожие на Белинского, Чернышевского и Добролюбова, подначивали и друг друга, но в основном подначка шла в сторону Адика и Серго. Общеизвестным козлом отпущения в их коллективе, постоянной мишенью остроумия был перкашист Адик. Он все это вроде терпеливо

сносил и добродушно пыхтел, хотя в душе его добра было не так-то много.

Недавно Адик по каким-то еле заметным признакам почувствовал, что у него есть конкурент на месте козлика, а именно сам блистательный Серго. У Серго оказалось вдруг тоже весьма уязвимое место — возраст. В этом смысле он был фактически белой вороной в молодом коллективе вокально-инструментального ансамбля „Сполохи”. Почувствовав это, Адик оживился, активизировался и старался использовать любой случай, чтобы вытолкнуть Серго на свое место.

Серго это тоже чувствовал, конечно, не отчетливо, не осмысленно, но временами очень ярко. Временами темень поднималась со дна его души, когда он улавливал потуги Адика, этого мелкокурчавого толстяка с маленьким капризным лицом.

Можно еще раз сказать, что все это были глубинные, неосмысленные движения, а на поверхности, то есть в действительности, все они были друзья, настоящие друзья, что не раз проверялось в разных сложных ситуациях, вместе все они, вот эти пятеро и остальные шесть, трудились, и труд их был нелегкий и хлеб не всегда сладкий. Сейчас они расслаблялись, „кайф ловили” перед вечерним концертом, возились на гальке, как пацаны, спорили, почему-то сосредоточив все свое внимание на маленькой чаечке-нырке.

Нырок покачивался на зыби метрах в сорока от берега, он был очень мал, крохотный черный комочек, который иной раз просто пропадал в игре света и тени. Иногда он нырял, лапки вверх — и уходил под воду. Нырки потому так и называются, что умеют и любят нырять глубоко и далеко, но этот почему-то выныривал сразу же и снова возвращался на свое место недалеко от края волнореза и плавал

там тихими кругами. Что его там держало, трудно сказать, быть может, он смотрел на пятерку парней, бесившихся на берегу.

— Пойдем на спор — подшибу нырка! — сказал кто-то из парней и бросил гальку.

Она упала метрах в пяти от цели, да парень вовсе и не метился.

— Лажук! — захохотал другой. — Смотри!

Камень полетел вверх очень высоко и рухнул в воду за нырком, подняв фонтан.

— Чуваки! Разве так бросают в нырков?! — закричал кто-то еще из парней, задыхаясь от хохота, и пустил гальку в сторону нырка блинчиками.

— Вот смотрите — бросает железная рука! — Еще кто-то из них швырнул здоровенную булыгу и сильно промазал, зато шуму и брызг получилось много.

— А я из пулемета, из пулемета! — Пятый выпустил в нырка один за другим целый заряд камешков.

Смеху тут было — сорок бочек арестантов!

Над пляжем проходила набережная, и гуляющие стали останавливаться, привлеченные великим шумством. Там, по набережной в Сочи, гуляют представители всех часовых и климатических поясов, и в силу различных исторически и психологически сложившихся темпераментов разные представители реагировали по-разному. Одни громко возмущались, другие молча возмущались, третьи соображали, что делать с нырком, если его подобьешь, — жарить, что ли? Говорят, они не особо вкусные, мясо жесткое, рыбой пахнет. В воду выбросить — пусть выживает на природе. В природе есть циклы, он в циклах выживет отлично или погибнет. Можно юным натуралистам в школьный кружок отдать, потому что в зоопарк не возьмут: порода не редкая, массовая порода пернатых друзей.

— Ребята, давай на коду! А то еще попадем! — кричал, хохоча, один из лабухов, а сам все бросал и бросал, не мог остановиться.

— Попадем — зажарим! — хохотал другой.

— А кто жрать-то будет?

— Адька срубает! Ему всегда мало! — крикнул Серго.

— А ты, Серго, уже не потянешь, а?! — взвизгнул Адик. — Зубы уже не те, да?!

Среди общего свиста, хохота и безобразия эти двое вдруг остановились и посмотрели друг на друга в упор.

— Поди на конюшню и скажи, чтоб дали тебе плетей, — процедил Серго свою любимую шутку, которая много лет уже восхищала всех ребят во всех составах, где он когда-либо работал.

Град гальки поднимал фонтанчики вокруг нырка, как будто его обстреливало звено истребителей. Нырок же покачивался невредимый и, очевидно, не понимал опасности. Иногда он нырял по-прежнему неглубоко и недалеко и возвращался к своим кругам. Вполне возможно, он полагал, что с ним играют, и, собственно говоря, не ошибался — с ним действительно играли.

Все это дело увидели в бильярдной, которая помещалась в бетонной нише здесь же на набережной. На всех трех столах прервали игру и стали следить за бомбардировкой. Петр Сигал, девятнадцатилетний студент, потрошитель этой бильярдной, с трудом оторвался от увлекательной игры, потому что партнер его Динмухамед Нуриевич отвлекся в сторону моря.

Петр Сигал, студент биофака, юноша бледный и нервный, мало бывал на воздухе, на солнце и спортом никаким не занимался, если не считать бильярда. Бильярд был страстью Петра, и он так натрени-

ровался, что найти себе достойного партнера было для него проблемой. Вот он приехал на каникулы в Сочи, вроде воздухом морским подышать, так он и сам себя уверял, но на самом-то деле влекла его уютная бильярдная в нише на набережной, которую он запомнил по предыдущим гастролям. Каникулы давно уже прошли, но он все выправлял себе с помощью сочинской тети липовый бюллетень день за днем, неделю за неделей, потому что нашел наконец себе достойного партнера — знатного хлопкороба Динмухамеда Нуриевича. Среди коричнево-черной пиджачной массы посетителей бильярдной юноша Петр Сигал в ярчайшей нейлоновой куртке выделялся как нездешняя малоподвижная странноватая птица.

Вот и сейчас он вылетел из ниши на пляж как неуклюжая яркая птица с бледным лицом. Что заставило его вдруг так горячо и неожиданно для всех, и для себя самого в первую очередь, вмешаться в эпизод с нырком? Почему вдруг его равнодушное длинное горло перехватило кольцо сочувствия к мелкой морской твари и страха за ее судьбу? То ли вспомнил вдруг заброшенный биофак и вообще чудо живой природы, изучению которой собирался до бильярда посвятить жизнь, то ли вдруг рисунок нынешней партии с Динмухамедом Нуриевичем подготовил этот эмоциональный взрыв — так или иначе Петр Сигал взорвался.

Он по-верблюжьки перепрыгнул через парапет и стал метаться среди музыкантов, хватать их за руки:

— Не смейте! Не смейте в водоплавающее! Зачем оно вам?! Прекратите!

Конечно же, никто из лабухов не собирался губить малую птаху и садизма в них не было никакого, может быть, только мозги малость поехали от

морского озона, но хватать себя за руки они Петру Сигалу не позволяли.

— Эй ты! Чего лезешь? Уйди, лопух!

Слегка ему дали по шее, слегка ногой под зад, но он все метался и орал что-то уже невразумительное, наседав грудью, длиннющие волосы развевались, очи горели. Явно напрашивался.

— Поди на конюшню, — сказал ему Серго, — скажи, чтоб дали тебе плетей.

Камни, однако, летели в нырка все реже и реже. Парни поскучнели, все это вдруг показалось им скучным и дурацким. Бросали уже просто так, для самолюбия. Тут как раз все и увидели, как один камушек средней величины угодил точно в голову нырка и как тот сразу же пошел ко дну.

Петр Сигал сел на гальку и, словно забыв сразу про свою битву, вперился горячим взглядом в горизонт.

— Пошли, пошли, ребята, — сказали друг другу музыканты.

Они забрали свои куртки и сумки и медленно пошли с пляжа на набережную, с набережной на лестницу, с лестницы на бульвар. Гуляющая публика еще некоторое время провожала взглядами живописную группу, а потом вернулась к прогулке, к оздоровительному дыханию и неумолимым разговорам.

— Кто утку убил? — спросил кто-то из музыкантов.

Остальные забормотали:

— Черт его знает, вроде не я. Все бросали. Черт знает кто попал. Все мы утку угробили. Да подумай, ерунда какая — уточка. Их тут миллиард, если не больше... Комара, скажем, давишь — не жалко...

— Все-таки противно, парни, — сказал Серго. — Лажа какая-то получилась. Согласитесь, что произо-

шла какая-то дурацкая история. Абсурдная паршивая история, и подите вы все на конюшню...

— А ты-то сам?! — повысил тут голос Адик.

— И я сам пойду на конюшню и скажу, чтоб дали мне плетей.

Адик совсем уже огорчился и взял старшего товарища за руку. Заглянул в глаза:

— Да брось ты, Серго. В самом деле, вот еще повод для смура. Ребята правильно говорят: комара давишь — не жалко. Нырок это говенный или комар — большая разница...

— Да ладно, ладно, — пробормотал Серго, смущенный таким сочувствием.

Они пошли дальше молча и больше уже не говорили про утку, хотя у всех оставался какой-то стойкий противный вкус во рту, как бывает, когда ненароком съешь в столовке что-нибудь недоброкачественное, и они не сговариваясь завернули за угол гостиницы „Приморская” и там в буфете выпили по стакану крепкого вина, перебили гадкий вкус и все забыли.

Юноша Петр Сигал продолжал неподвижно сидеть на пляже, и Динмухамед Нуриевич счел нужным подойти к партнеру, развернуть на гальке носовой платок и сесть рядом.

Динмухамед Нуриевич в погожие дни гулял по курорту в прекраснейшем официальном костюме со знаками отличия на обоих бортах. На голове носил твердую фетровую шляпу. Тюбетейку Динмухамед Нуриевич обычно надевал в дни крупных собраний, чтобы создавать пейзаж для кинохроники, в жизни же предпочитал европейский головной убор.

— Принципиально говоря, очень тебя понимаю, Петька, — сказал он юноше. — Бильярд иногда вызывает отрицательную реакцию, отрывку вот здесь, под кадыком, если принципиально говорить. Я вспо-

минаю тогда про плантации белого золота. Тебе, Петька, надо ко мне в колхоз приехать. Я тебе сабзы дам, дыню дам, редиску дам, плов дам, кошму дам, мотоцикл дам, будешь с дочкой кататься.

Динмухамед Нуриевич очень симпатизировал юноше, хотя тот выиграл у него довольно много денег.

Черноморская волна тем временем подкатывала все ближе и ближе к пляжу убитого нырка с бесильно болтающейся головой. При ближайшем рассмотрении можно было заметить, что камень попал ему не в голову, а перебил шею.

Вечером мы с Екатериной пошли в концерт. Так вдруг собрались, ни с того ни с сего. Гуляли по городу, увидели афишу: „Вечер советской и зарубежной песни: лауреаты всесоюзного конкурса артистов эстрады Ирина Ринк и Владимир Капитанов в сопровождении вокально-инструментального ансамбля „Сполохи“, Москва“. Я вдруг подумал: может быть, там играют те самые лабухи, которых мы видели утром на пляже, в том числе и Серго? Интересно послушать, как сейчас играет Серго, да и вообще любопытно узнать, что сейчас из себя представляет эстрада. Я пригласил Екатерину, и она неожиданно мигом согласилась. Впоследствии выяснилось, что про лабухов тех она к вечеру и думать забыла и эстрада ее не очень интересовала, а просто она хотела продемонстрировать новое платье. Впоследствии, то есть спустя совсем непродолжительное время, она мне очень мило в этом призналась. Это приглашение на эстраду стало для нее, оказывается, своего рода толчком, будто бы началом полета. В самом деле, думала она, привезла с собой исключительное платье, а надеть-то его и некуда. Вот как раз удивительная возможность прогулять свое платье под яркими лампами театрального фойе.

Мы быстро доехали до ее санатория, и не прошло и четверти часа, как Екатерина выбежала в новом платье и с шубкой на руке.

— Платье какое у вас удивительное, — сказал я и заметил, что она просияла.

— Дуров, — сказала она, — вы растете в моих глазах! Платье заметил!

— Страшно сказать, но уж не парижское ли, уж не от Диора ли? — осторожно сказал я.

— Ну, Дуров! — только и воскликнула Екатерина. Просто сияла!

Немного, право, нужно женщине, совсем немного.

Эстрада, честно говоря, не принесла нам никаких сюрпризов. Ирина Ринк была довольно хорошенькая и двигалась недурно, и если бы она не пела, совсем было бы приятно, но она пела, самозабвенно пела, просто упивалась своим маленьким голоском. Владимир Капитанов, напротив, очень оказался горластым. Наступательным своим, гражданственным баритоном он заглушал даже бит-группу, но, к сожалению, двигался он очень паршиво и был очень нехорошеньким — Владимир Капитанов. Наши шумные соседи с пляжа, Адик, Серго, Белинский, Чернышевский и Добролюбов, а также еще шестеро молодых — все были в униформе: в ярко-оранжевых длинных пиджаках и черных бантах на шее. Играли они на трех гитарах, двух саксофонах, двух трубах, на барабанах, рояле, скрипке, тромбоне плюс подключались, конечно, временами перкаши, кларнеты и электронная гармошка. Играли чистенько, скромненько, вполне репертуарно, такие гладенькие послушные мальчики, что прямо и не узнать. Смешно было смотреть, как они, уходя в глубину и становясь тылами Ирины и Владимира, слегка подыгрывают содержанию очередной песни, вздыхают, или со значением переглядываются, или головами кру-

тят в смущении, или еще как-нибудь жестикулируют. К примеру, солисты поют:

Не надо печалиться,  
Вся жизнь впереди... —

и при этих словах бит-группа „Сполохи” ручками показывает — впереди, мол, впереди. Так, должно быть, по мысли их руководителя, осуществляется на сцене драматургия песни.

Лучшим среди них, конечно, был Серго. В двух-трех местах, где ему приходилось выходить вперед, он играл порывисто, резко, со свингом. Всякий раз, то есть именно два-три раза, я даже вздрагивал — так неожиданно это звучало среди детского садика „Сполохи”. И Екатерина в этих местах чуть-чуть присвистывала. Так никто из них не мог играть, как Серго. Он и в те далекие времена, в кафе „Темп”, считался хорошим саксофонистом, не гением, но „в порядке”, а это в те времена, когда новые джазовые герои появлялись каждую неделю, было нелегко. Я вспомнил вдруг, что у него была любимая тема, эллингтоновское „Solitude” („Одиночество”), и он, когда бывал в ударе, очень здорово на эту тему импровизировал, и знатоки даже переглядывались в мареве „Темпа”, то есть чуть ли не приближали его к гениям, к тогдашним знаменитостям Козлову, Зубову, Муллигану. Вот даже какие подробности я вспомнил про этого седокудрого красавца Серго.

Я собирался этими воспоминаниями о Серго поделиться с Екатериной после концерта, но упустил момент и забыл, совсем забыл про этого Серго, отвлеченный скромным, малозаметным великолепием Екатериного нового платья. Конечно, я и не предполагал, что мы в этот вечер еще встретимся с альт-саксофонистом.

Мы гуляли по высокому бульвару над морем. Кипарисы и пальмы были слева освещены огнями гостиницы, а справа созвездиями, молодым месяцем и бортовыми фонарями плавкрана, которые покачивались в кромешной темноте моря. Вечер был тихий, и пахло весной, но, как ни странно, не южной весной, а нашей русской, бедной и тревожной весной. „Кому-то нужно даже то, что я вдыхаю воздух...” — так вспомнилось.

— Что, Дуров? — как будто услышала Екатерина.

Я повторил вслух.

— Вы к цирку, Дуров, конечно, не имеете отношения? — спросила она.

— К сожалению, никакого.

— А к артисту Льву Дурову?

— Увы, ни малейшего.

— Знаете, Дуров, я хотела вам сказать кое-что насчет вашего жанра. Я видела несколько раз эти представления... да-да, я знаю, что вас мало, не беспокойтесь, я видела как раз тех, кого вы имеете в виду, и вас, сэр, в том числе... так вот, знаете, мне это по душе, но временами посещает мыслишка: а не дурачат ли меня, не мистифицируют ли? В конце концов что это — клоунада, иллюзион, буфф или нечто серьезное, а если серьезное, то что же — пластика, цвет, звуковые куски, даже тексты? Все это как-то одиноко, периферийно, что ли... Есть ли какая-нибудь философия в вашем жанре?

— Ну и вопрос вы мне задали, Екатерина!

Я понимал уже, что не отшучусь, что придется как-то отвечать, как-то выворачиваться...

Что же мне ответить Екатерине, если я и себе-то не могу ответить? Если я и сам сомневаюсь в своем искусстве, да и в искусстве вообще, и перекачываюсь за рулем автомобиля с севера на юг, с запада на восток, будто бегу от своих сомнений. О, как я ког-

да-то был уверен в силе и возможности искусства, а свой жанр вообще считал олимпийским даром, резонатором подземных толчков, столкновением туч, прорастанием семени, чуть ли не полным оправданием цивилизации. Если бы тогда она спросила меня об этом! Сейчас я бегу, бегу, бегу и знаю, что так же, как я, бегут и другие из числа пятнадцати. Все-таки надо что-то отвечать и выхода нет — буду дурачиться.

Мы приближались к длинным полосам света, падавшим из высоких окон ресторана на асфальт. В этих полосах стояла кучка людей и смеялась. Это были музыканты. Один из них — конечно, Серго — чуть отделился и протянул мне руку:

— Что же ты, старик, нос воротишь?

Я даже остолбенел от неожиданности. Неужели и он меня узнал? Ведь я всегда был для него только слушателем, одним из многих „фанов”. Мы даже и не пили никогда вместе.

— Зазнался или не узнаешь? — спросил он.

— Нет, я тебя сразу узнал, — пробормотал я. — Но видишь ли, Сергей, столько лет прошло, а мы...

У него лицо чуть покривилось — быть может, из-за упоминания о быстротечном времени.

— Помнишь „Темп”?

— Еще бы!

— Вот видишь, ничего из меня путного не вышло, хотя и прочили судьбу, — сказал он легко и не без юмора. — Но ведь и ты, старик, как будто не вышел в дамки, а? О тебе тоже ничего не слышно... Так что мог бы и узнавать современников.

Чудесно он это сказал — легко, беспечально и ненавязчиво.

— Да я-то как раз из-за противоположного комплекса к тебе не подошел, из-за скромности, — невольно улыбнулся я и повернулся к Екатерине, собираясь их познакомить.

— Из-за ложной скромности? — улыбнулся он, уже глядя на нее. — Мы поколение ложных скромников, — сказал ей Серго.

Они пожали друг другу руки.

— Давайте я с мальчишками нашими вас познакомлю, — предложил он.

Я подумал, что он хочет нас познакомить в основном для того, чтобы самому услышать мое имя, которое он забыл, а скорее всего и не знал.

— Дуров, — громко сказал я. — Павел Дуров. Павел Аполлинарьевич.

„Мальчишки” дарили нас своими рукопожатиями, я бы еще не удивился, если бы меня только, но и Екатерину. Не особенно уверен, но, кажется, в этом есть что-то от современного психологического состояния — наши вьюноши как бы дарят себя восхищенному человечеству, в том числе и противоположному полу. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что это было только в первые минуты знакомства, а потом все больше и больше компания стала играть на Екатерину, все стало более естественным, и постепенно внутри нашего кружка образовалось то особое нервное приподнятое настроение, что возникает в присутствии красивой женщины. Что-то постыдное чудится мне всегда в таком настроении и одновременно что-то чарующее; ясно, что в эти моменты жизнь натягивает свои струны. Я видел, что и Екатерина понимает постыдное очарование этих минут и, конечно, не может ими не наслаждаться: ночь, бульвар над морем, новое платье, дюжина мужчин вокруг и у каждого, конечно, сумасшедшие идеи по ее адресу. Пусть наслаждается, лишь бы понимала. Любопытно, как она хорошо понимает все, что и я понимаю! Кто она такая, эта Екатерина?

Вдруг что-то произошло, и настроение мигом было сорвано, как скатерть со стола рукой обормота.

Я не понял, что случилось, но, проследив за взглядом Серго, увидел, что от толпы гуляющих отделился и идет прямо к нам высокий юноша с маленьким бледным лицом и в ярчайшей нейлоновой куртке, похожий на страуса юнец. В повисшей плетью руке он нес что-то маленькое, с которого капало, какой-то комочек. Юношу сбоку сопровождал обычный сочинский отдыхающий, узбек в костюме с орденами. Они шли быстро и прямо к нам. Мне стало не по себе — темный хаос, казалось, надвигался по стопам странной пары.

— Дзинь, — сказала грустно Екатерина, тут же угадав мое настроение. — Дзинь, дзинь, модус инферно.

Перед тем как они подошли вплотную, я успел еще заметить лица музыкантов. Все они были застывшими как бы на полуфразе, полуулыбке, полугримасе.

Подойдя вплотную, юноша протянул руку. В ней было нечто страшное: мокрая дохлая птичка с болтающейся головкой.

— Берите! — сказал юноша. — Берите! Что ж не берете?

Узбек оттягивал его за куртку, что-то бормотал, играл глазами — то подмигивал нам, то ему, то еще кому-то, то угрожал, то упрашивал, все глазами. В нашем кругу никто не двинулся, никто не брал трупик. Юноша разжал руку, и трупик птички шмякнулся на асфальт как небольшая, но очень мокрая, а потому тяжеленькая тряпка. Затем оба они, узбек и юноша, Петр Сигал и Динмухамед Нуриевич, резко повернулись и пошли прочь, некоторое время еще мелькая в полосах света, но быстро растворяться в ночи.

Матерный вздох прошел по кругу, и круг пришел в медленное движение, и с каждым градусом пово-

рота от круга отлетала одна фигура за другой — кто уходил отмахиваясь, кто с плевком, кто без всяких эмоциональных движений. Не прошло и минуты, как над жалкой мокрой гадостью остались только трое: Серго, я и Екатерина.

Гулкий голос спросил из глубины ночи, как будто бы из-за невидимого горизонта:

— Помощь не нужна?

— Нет, спасибо, — ответила Екатерина и повернулась ко мне. — Вот вы еще ни сразу не спросили, Дуров, какая у меня профессия, чем занимаюсь. А между тем я женщина, оживляющая подбитых птиц.

Она присела, взяла трупик в ладони и прижала его к груди, к своему исключительному платью. Почти мгновенно из ладоней ее выскочила точно на пружинке живая славненькая глуповатая головка нырка. Екатерина раскрыла ладони, и нырок встал на них, деликатно отряхиваясь и поклевывая себя под крыло. Екатерина подняла ладони, и нырок взлетел. Он набрал высоту по спирали, поднялся метров на двадцать и стал кружить над нами.

Не надо печалиться,  
Вся жизнь впереди, —

пел нырок популярную в этом сезоне песенку.

— Неплохо поет, а? — спросил я Сергея не без гордости.

— Неплохо, — согласился тот. — Слегка железочкой отдает, чуть-чуть скрежещет, но в целом неплохо.

— Сейчас он в море полетит, — сказала Екатерина. — Он больше любит воду, чем воздух.

Она вытянулась стрункой, подняла руку и махнула. Нырок прекратил вращение и полетел с высоты откоса к морю. Летел и пел:

Не надо печалиться,  
Вся жизнь впереди,  
Вся жизнь впереди,  
Только хвост позади.

Он летел, пел и постепенно растворялся в темноте.

СЦЕНА. НОМЕР ТРЕТИЙ: „УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК”

*Ночной паркинг. Зрители — спящие рефрижераторы. Дуров развешивает на ближайших кустах жестянки и стекляшки: это воспоминания.*

...Всякий раз как я встречал его на улочках нашего квартала, мне вспоминались университеты и не отвлеченные понятия высшего образования, но университетские территории, то, что сейчас называют кампусами.

Он был вообще-то переводчиком европейской поэзии, то есть поэтом, и сам себя, кажется, вовсе не связывал с университетами, с какими-то закрытыми учеными товариществами, а, напротив, быть может, полагал себя человеком улицы, бродягой, забубенным стихоплетом вроде Франсуа Вийона.

Я встречал его редко, но всякий раз, как мне сейчас представляется, где-то или в саду, или в аллее, всякий раз под какими-то огромными свисающими ветвями. Профессор (будем называть его так, хотя у него, кажется, не было ни единой ученой степени) с терьером на поводке, а сам похожий на ирландского сеттера, рыскал по кварталу в поисках созвучий. Мне казалось, что ему следует бежать всего того, что похоже на слова „гастроном”, „комбинат”, „протокол”.

Однажды пришлось мне посетить городок Блумингтон, где в соответствии с названием процветает

старый университет и колоссальные везде произрастают деревья. Ночью студенты бессонные шляются по пиццериям, в предгрозовой духоте проплывают они как медузы, угри и тритоны. Там мы с другом, хлопоча по части шамовки, передвигались в ночи. Там нам обоим вдруг вспомнился рыжий Профессор, вдруг одновременно в память пришел и связался с университетом. Вероятно, все же существовала в невидимом мире двусторонняя связь между Профессором и университетами.

Прошлой весной было отмечено, что деревья в нашем квартале весьма произросли и поднялись над крышами. Той же весной стало известно, что Профессор убит бандитами. Шутки ли ради или по слепоте судьбы, но он попал в криминальную статистику, в разряд невинных жертв.

Злой умысел его догнал — так подвывали сквозняки на тех углах, где он когда-то резко заворачивал со своим терьером. Какая бессмыслица — так грустно шелестели посеребренные луной деревья в тех садах. Любой злой умысел бессмыслен — так печально полагала луна.

Не так ли? Бессмыслен удар железом по голове, но проломленная голова полна смысла. Нелеп выбор невинной жертвы, но сама невинная жертва полна смысла, лепости и благодати.

Кварталы наших домов, мигающих робкими огоньками, шумящие сады, полные тихих лепечущих душ, тротуары, на которых с каждым дождем проступают легкие следы Профессора, что рыскал здесь с терьером на поводке в подслеповатом розыске созвучий...

*Дуров тихо аплодировал зрителям: чудесная публика. Приблизился, деликатно шипя пневмосистемами, еще один ценитель жанра — „КамАЗ” с двумя прицепами. Над паркингом стояла луна. Тень артиста пересекла масляные лужи...*

## АВТОСТОП НАШЕЙ МИЛОЙ МАМАНИ

Грубиян-водитель Бирюков Валентин высадил Маманю сразу за порядками птицефабрики „Заря”.

— Дальше, Маманя, топай пехом, — сказал он. — Начинай марафонский забег.

Вот такой этот Валентин Бирюков. Никогда не поздоровкается, не попрощамкается, а вместо искренних приветствий всегда грубость скажет.

Маманя развязала свой узел, достала кошелек и полезла за серебром.

— А я тебя, Валяня-голубчик, награжу, — пропела она. — Чичас дам тебе на пиво.

— Рехнулась, Маманя! — взревел грубиян, и вместе с ним грубо взревел и „МАЗ” евонный.

Засим они уехали. Маманя в душе была довольна и Валентином и „МАЗом” евонным. Они провезли ее дальше договоренного километров на двадцать, и серебро к тому же осталось все целое. Долгий путь начинался с удачи.

Маманя так и рассчитала, что от птицефабрики „Заря” путь ей будет до развилки километра три пеший. Как только грубиян повернулся к ней огромным темно-голубым затылком, выпустил вредный синий газ и ушел, так тут же Маманя привязала

на ремешке с одной стороны узел, с другой стороны сумку довоенную „радикул”, в правую руку взяла корзинку с гостинцами для невинных внучат и захромала по тропинке вдоль шоссе.

Утречко было пасмурное, и даже накрапывал маленький дождичек, то есть языческий местной волости бог дождя Мокроступ благословлял Маманю на долгую дорожку.

Елки да осины окружали всю Маманину жизнь с гололопошного детства через молодые на средние хляби к нынешнему зрелому веку. Теперь Мамане хорошо наслаждаться в здоровой городской обуви, хотя и стала уже подсыхать правая ножка.

„Великие Луки” — было написано на щите и километраж. Луки Великие, забормотала Маманя, Великие Луки, Великие Огромные да Веселые, Луки вы мои Лучища озорные, Луки вы Лученьки окаянные, Луки-Лучины-Разлуки-Излуки Великанские-Африканские-Атаманские, и где же вы засверкаете, запоете, да когда ж вы взыграете, Луки-мои-Луки, Лучата-мои-Внучата Великие да Прекрасные.

Так Маманя обычно бормотала себе под нос какую-нибудь несуразицу, когда судьба иной раз оставляла ее наедине с самой собой, что, правду сказать, случалось редко. Так она обыкновенно бормотала, и каждое словечко в несуразице играло для нее, будто перламутровое, в каждом, раз по сто повторенном, видела она какую-то особую зацветку. Маманя любила слова. В этой тайне она и сама себе не признавалась. В молодости, бывало, чуть ли не плакала, когда думала о том, как огромен красивый мир слов и как мало ей из этого мира дано. В нынешние времена родичи порой удивлялись: включает Маманя „Спидолу”, сидит и слушает любую иностранную тарабарщину, и лицо у нее такое, будто понимает. Никакого беса Маманя, конечно, не пони-

мала, ее только радовала огромность мира слов. Экошь балакают: эсперанца, ферботен, мульто, опи-нион... — отдельные слова долетали из радио до Мамани и радостно изумляли ее.

Так незаметно под „Луки-Лученьки” Маманя дохромала до развилки, то есть до того места, где их районная дорога упиралась в шоссе межобластного значения и где стояло на опушке леса несколько известных каждому устюжанину предметов: беседка, столб с автобусным знаком, преогромнейший плакат и фигура гипсового лося.

Многие устюжане пересекали эту грань и исчезали в пространстве. Мамане прежде не приходилось. Еще в те отдаленные времена, когда поставили здесь лося и пошли слухи среди районных крестьян, что золотое поставили животное для всех, Маманя (совсем-совсем нестарая еще тогда была Маманя) упросила деверя свозить ее на перекресток — такая была жгучая тяга. И ох как понравились ей тогда золотой великан, и широкая областная дорога, и отдаленное кружение облаков над бесконечными видами земли. Маманя вспомнила сейчас, как захотелось ей немедля утечь в отдаленное пространство, но деверь мужик был серьезный и непонятого не понимал. Подколупнула тогда Маманя лесного великана, спрятала себе на память малость позолоты. Потом побаловали они с деверем в кустах и благополучно отправились назад в Устюжино, где были рожденные и закрепленные для жизни.

И вот сейчас Маманя стояла на заветном рубеже. Серенький мокренький денек. У лося-красавца за долгие годы совсем уж стал затоваренный вид, но крепость в ногах уцелела. Маманя, влажная аккумулятенькая старушка, с шустрым интересом озирается. Казалось бы, надо ей сейчас ужасно волноваться, ведь вот-вот — и улетит она со своей устюжин-

ской планеты, но она совершенно почему-то не волнуется и никакой не испытывает горечи за прожитые годы. Путь дальнейший, почитай, в пятьсот километров ничуть ее не пугает.

Безусловно же расширились нынче горизонты даже и у сильно оседлого населения. Голубой экран и беспроводное радио безусловно приблизили к Устюжину всю нашу малонаселенную, но порядком уже цивилизованную планету. И вот: крохотная старушка Маманя, да еще и с подсыхающей ножкой, уверенно стоит на асфальтовом распутье, не боясь ни мрака, ни зрака, ни лихого человека. А между прочим, путь Мамане предстоит через три северорусских области, в крошечный по масштабам лесопункт, к родному сердцу, дочери Зинаиде, медицинскому работнику — фельдшеру.

Быть может, некоторые читатели не поверят, но Маманя просчитала всю дорогу по автомобильному атласу племянника Николая. С карандашиком произвела калькуляцию, и вышло так, что на попутных ей будет и сподручнее и дешевле, чем на железной дороге и автобусах с пятью пересадками. И вот, как видим, первый почин оказался удачей — полста километров уже позади, а серебро все целое. А вот и вторая Маманина удача появилась — с бугра скатывался, разбрызгивая лужи и шуруя щетками по стеклу, махонький красивенький автобус, на каких Маманя еще не каталась. „Это мой”, — подумала она, подняла ручку и личиком сделала скромный привет.

Шофер в этом транспорте оказался совсем не похожим на грубияна Бирюкова, да и вообще на устюжских волосатых парней. Стрижка у него была короткая, тугой на шее висел галстук, на пальце граненое кольцо. Человек ученый-неученый, но вежливый, молчаливый, улыбающийся.

Мама́ня попыталась было́ ему́ рассказать всю свою историю — и про Зинаиду и про ейную пробле́му, — но он, улыбаясь, включил радио, и рассказ по́тонул в красивой музыке.

К слову сказать, Мама́ня как выехала за свои райо́нные преде́лы, так все и старалась попутчи́кам рассказать свою житейскую историю. Будто бы что-то подмывало ее выговорить свое наболевшее, набрякшее этим незнако́мым лю́дям, стремительно несущимся по дорогам. Мы, однако, прибере́жем Мама́нин рассказ до встре́чи с дру́гим геро́ем нашего повествова́ния, благо и недале́ко уже оста́лось.

Однако удача-то с маленьким автобусом была не ахти ка́кая уда́чная. Как стали проща́ться в Псковской уже о́бласти, водите́ль радио выключил и скри́вился на серебро в коричне́вой ладо́шке:

— Мало кидаетшь, мамаша!

Мама́ня ахнула, сердце заколотилось, подсыпала из „ради́кула” еще парочку монет.

— Бума́гой плати́ть надо, ми́лая, — пожури́л ее водите́ль, да так вежливо, что Мама́ня его даже, как волка́, испугалась.

Из трех бума́жек, что оказа́лись после этого в дрожа́щей Мама́ниной руке, из пятерки, трешницы и рублика, водите́ль выбрал самую новенькую, чистенькую — трешницу. Даже пятеркой побрезговал из-за поношенности. Выбрал и отпусти́л тогда Мама́ню с миром и даже два пальца приложи́л к непокры́тому лбу, будто фри́ц.

Как она горевала по этой трешке! Ведь на автобусе-то и двух рублей не натянуло бы от сих до сих! Трешечка трешечка моя грефовая трешечка шишечка шишечка с маслицем трешечка кошечка выгляни в окошечко трячок мужичок поволок за бочок куяк не куяк а выкладывай тряк!

Однако дальше пошло сносно. Растерянную Маманю подобрал трактор с удобрением и довез до могучего автохозяйства, что посередь чистой прохладной земли мощно рычало и ворочалось в собственной грязи. Оттуда Маманя выехала в пребольшущем дизельном тягаче, сверху поглядывая на поля и леса, будто принцесса. Еще солидный кусок дороги скушала Маманя на желтой цистерне „Молоко“, и это был путь приятственный, подушечка под заднюшечкой мягонькая, а от водителя Игорехи (как он сам себя назвал) молочком природным потягивало. Конечно, уж больно часто Игореха матерился, и Маманя поначалу немного вздрагивала, но потом привыкла — матерится человек, как дышит, без всякого зла и смысла.

Всем этим товарищам — и трактористу, и дизелисту, и молоковозу — Маманя бросала денежку в кармашек, приговаривая: „На табачок, на конфетки деткам, на пивко-лимонад“ — в зависимости от типа водителя. Очень это ловко получалось — малая денежка летела в кармашек, а шоферюга только глазом косил. Маманя даже возгордилась, как ей в голову пришла такая славная хитрость — денежку в кармашек. На этом деле Маманя, безусловно, возместила себе безвозвратно погибшую трешницу.

И вот мы наконец видим нашу Маманю, хромающую через большое и пустынное село Никольское к магистрали союзного значения — широченной дороге, разрисованной вдоль белыми линиями и со столбиками на каждую сотню метров. Мамане, конечно, село Никольское кажется единственным в мире селом Никольским, в Устюжинском родном районе такого названия нету, и Маманя не подозревает, что в России Никольских-то сел что звезд на небе. Экое преогромное село-полугород и совершенно сейчас безлюдное — во дворах кобели бре-

шут, в избах голубые экраны полыхают, никого не спросишь ни о чем.

Махонькая Маманя в плюшевой жакеточке долго мокла на магистрали союзного значения прямо за знаком „остановка запрещена”. Не снижая скорости, мимо нее проносились и грузовики, и фургоны, и такси. К слову сказать, Маманя все легковые машины называла по-своему — такси. Помнилось, как Зинаида с Константином приехали к ней однажды (еще до деток) пьяные и веселые и все говорили: такси, такси, приехали на такси и уедем на такси.

И вот появилась синенькая, хорошенькая, чистенькая под дождичком „такси”, которая, разглядев вдруг Маманю, заморгала ей правым глазом и приблизилась. Опасное, конечно, дело — такси. Того гляди еще попросит бумажных денег. Тем не менее Маманя себя и ножку свою занывшую пожалела и влезла в сухое, да теплое, да музыкальное место. Эх, тратиться так тратиться — давай гони!

Водитель „Жигулей” Павел Дуров, артист редко-го, теперь почти вымершего жанра, ехал из литовско-прусской оконечности нашей державы в неопределенную ее глубину. В гущу, как он сам для себя это выражал. Вот так его кидало из конца в конец — то тянуло к прохладной и пустынной балтийской оконечности, то засасывало прямо в борщ, гущу, в жировые пятна отчизны.

— Ай такси-то у тебя хорошая, ай накатистая, — пропела вежливо Маманя, приглядываясь уже, где у водителя „кармашек”.

— Это, простите, не такси, — поправил старушку Павел Дуров.

— Не самосвал же! — хихикнула Маманя и зыркнула глазом по водителю, по синей рубашке с медными пуговицами. — Я, чай, ты моряк будешь, мальчик дорогой?

— Моряк-моряк, — с готовностью покивал Павел Дуров. — Меня зовут Павел. А вы куда путь держите?

— В Новгородскую область, в поселок Сольцы, — не без гордости ответила Маманя.

Павел Дуров левой рукой обхватил руль, а правой открыл автомобильный атлас, прошелся по нему пальцем.

— Почти сто двадцать километров нам с вами по пути... — проговорил он и как-то вроде бы не закончил, вроде бы вопросик повесил, обратился к Мамане вопросительным лицом.

— Ты чего, мальчик дорогой? — удивилась Маманя.

— Ваше имя-отчество?

— А Маманей меня называй.

— Маманей? — изумился Павел Дуров.

— Ага. Меня все Маманей зовут. Ну а ежели не с руки, зови тогда Маманя-Лиза. Лизавета я, значит, Архиповна. Ну вот... — Она устраивалась поудобнее в теплой машине, что, тихонько журча, несла ее по сырой земле, к дочери Зинаиде. — Ну вот, а еду я, мальчик дорогой, к дочери своей Зинаиде, которой мужик Константин, законный супруг, дурака завлял с библиотекаршей Лариской. Вот видишь, мальчик дорогой, получила я письмо от Зины, и сердце захолонуло — от родной дочки такие горечи получать не дай тебе Бог! — Маманя развязала „радикул” и показала Дурову исписанную с двух сторон страничку арифметической тетради. — Вот, глянь.

— Не могу читать на ходу, Елизавета Архиповна, — виновато улыбнулся Дуров.

— Тогда я сама тебе прочитаю! — решительно сказала Маманя и надела очки. — Слухай! „Здравствуйте, многууважаемая моя маманя Елизавета Архиповна! Из далекого леспромхоза, затерянного в жи-

вописной новгородской земле, шлю свой горячий привет двоюродному брату Николаю, тете Шуре, дяде Филиппу, маленьким деткам Юрику и Виталику, особенно директору нашей школы Евдокии Терентьевне, которую часто вспоминаю, как в песне поется, „учительница первая моя”, подругам и коллегам Нине, Тамаре и Аркадию Осиповичу, если еще помнит, а также всем односельчанам, с которыми прошли мы годы и версты по нехоженным тропам жизни. Если бы Вы сейчас были со мной, мамушка родная, неизбежно не узнали бы родной дочери. Константин фактическим образом не ночует дома, а на глазах всего нашего лесного коллектива отдает библиотекарю Ларисе свой ум и честь и носит через улицу шампанское и кондитерские изделия. Я не знаю, маманечка, что с собой сделаю! Хоть бы хоть красивая была, сука дорожная! Мне жизни нет совсем, ни месяца, ни звезд не вижу, и хочется плакать, когда слышу эстрадные песни. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. Дети наши отца Константина уже ставят под вопросом и спрашивают — как ножом режут, а мне пожаловаться некому никогда... хоть бы пачку вероналу, но Вы не верьте этим глупостям. Остаюсь любящая Вас дочь Ваша Зинаида. Внучата Алик и Танечка кланяются Вам с глубоким уважением. А может быть, запросы у меня слишком высокие, может, оттого это случилось, что не разглядела в Константине человека с большой буквы? Эх, мама...”

Маманя разрыдалась вдруг так бурно и горько, что Дуров растерялся и не нашел ничего лучше как прижаться к обочине и выключить мотор. Полез в походную аптечку, накапал валерьяны.

— Учила! Холила! Зиночку! Деточку мою! На фельдшера выучила, а отдала злодею!

— Елизавета Архиповна, Елизавета Архиповна!  
Позвольте пульс!

Пульс у Мамани оказался как хорошие часики. Горький порыв свой она остановила, достала из „радикула” сухую тряпочку и вытерла лицо.

— Ну, мальчик дорогой, что ты скажешь теперь мне, своей попутчице несчастной?

„Бредовина какая-то, — подумал Дуров. — Что я могу ей сказать?”

— М-м-м, — сказал он. — И вы, значит, к Зинаиде двинулись, Елизавета Архиповна?

— Вот так и двинулась!

— А цель ваша?

— Цель? Я им поцелуюсь! Где это видано, чтоб муж при живой жене с библиотекаршей ни от кого не скрывался?

„Где это видано? — спросил себя Дуров. — Действительно, где такое невероятное событие могло случиться?”

— Значит, вы, собственно, не Зину утешать свою едете, а, собственно говоря, активно хотите влиять на Константина?

— У Зинки все лекарства выброшу в уборную, а Костю за руку в дом верну, да еще и уши надеру!

Сказано это было с энергией и решимостью.

Дуров посмотрел на старушечку. Эге, старушечка, как говорят, свое дело знает туго. Да, это, конечно, активная старушечка, знаток человеческих сердец.

— А что же будет делать библиотекарша Лариса, одинокая, красивая, несчастная?

— Как сука дорожная, — процитировала Маманя Зинкино письмо.

Из плюшевой жакеточки, из суконного серенького платочка, из оправы бабской российской добро-

ты вдруг выглянуло малоприятное, бессмысленное от злости куриное рыльце.

Они проезжали маленький городок. Точно такие же, как Маманя, тетушки-старушки, казалось, преобладали среди местного населения. Активно и шустро хлопали дверями магазинов, с озабоченными лицами трусили к автобусным остановкам, тащили кошельки, сетки, толкали тележки кто знает с чем. Дуров отмахнулся от промелькнувшего неприятного впечатления от куриного рыльца. Уж если и тетушек этих выбросить, этих самозабвенных хозяюшек, ничего тогда не останется, пустое будет поле.

Вдруг кто-то на обочине поднял руку, и не просительно, а деловито и беспрекословно, словно военный патруль. Дуров притормозил — и впрямь офицер голосует. Худощавый офицерик с замкнутым, несколько высокомерным лицом приблизился к машине, открыл дверцу, сел на заднее сиденье и только тогда обратился к водителю:

— Мне с вами восемнадцать километров по шоссе.

Затем он открыл толстую книгу и углубился в чтение. Дуров восхитился — вот надежный парень!

— Что читаем? — спросил он, разгоняя дальше свою машину.

— Классика, — сказал офицер.

— А точнее? — Дуров почему-то старался попасть в тон этому офицеру, то есть говорить отрывисто, сухо, без эмоций.

— „Королева Марго”, — сказал офицер и перевернул страницу.

„Какого черта я их всех вожу? — спросил себя Дуров. — То я с Алкой-пивницей возился, то старушку-праведницу подобрал, а теперь вот читателя классики...”

— Знакомьтесь, — сказал он, ухмыляясь. — Елизавета Архиповна, знакомьтесь с офицером.

— Зови меня Маманей, мальчик дорогой. — Старушка уже полуобернулась к новому попутчику и ласкала его отчетливую фигуру любопытными глазами.

— Жуков, — сказал офицер и перевернул еще страницу.

— А ты, видать, военный, мальчик дорогой? — спросила Маманя. — Я, чай, летчик или артиллерист?

— В органах работаю, — сказал офицер Жуков.

— Во внешних или во внутренних? — живо спросил Дуров.

— МВД, — сказал офицер Жуков.

— Министерство внутренних дел, — пояснил Дуров Мамане и опять спросил офицера: — А точнее нельзя?

— Точнее нельзя, — сказал офицер Жуков.

— Нельзя — значит, оно и нельзя. — Теперь уже Маманя пояснила Дурову и совсем повернулась к молодому попутчику, строгому офицеру: — А я, мальчик дорогой, еду к дочери Зинаиде, потому что мужик ее Костя...

И далее последовал подробнейший рассказ о коварстве, о любви, о невинных внучатах, зачитывание вслух письма, слезный вопль и разговоры о мерах воздействия.

Дуров слегка злорадствовал, но посмотрев раз другой в зеркальце на офицера, посочувствовал тому. Вовсе он не был таким железным, каким на первый взгляд казался, этот мальчик из внутренних органов. Дуров заметил, что офицер Жуков мучается от противоречивых чувств: с одной стороны, прервать чтение „классики”, то есть личное дело, казалось ему унижением собственного достоинства, с другой стороны, он испытывал почтение к пожилой гражданке Мамане, а с третьей, возможно, он весьма близко к сердцу принимал страдания неведомой

фельдшершицы Зинаиды. Так или иначе, он хмурился, продолжал перелистывать страницы „Королевы Марго”, но в то же время и подавал Мамане реплики в адрес коварного Константина. „Непорядок” — такие в основном были реплики. „Конфеты носит ей через улицу!” — скажем, восклицала маманя. „Непорядок”, — говорил офицер Жуков.

Между тем восемнадцать километров остались позади. Начались кварталы городской застройки, какая-то беспорядочная неприглядная индустрия по обеим сторонам шоссе. Движение становилось все гуще, и вскоре Дуров прочно застрял в колонне цементовозов перед закрытым шлагбаумом.

Здесь как раз было то место, куда ехал офицер Жуков. Он сухо, но вполне вежливо поблагодарил, вышел из машины и зашагал к своей цели, которая (или которое) была недалеко. Оно (или она) было зданием темно-красного кирпича, с маленькими окошечками, наполовину закрытыми деревянными щитами. Вокруг здания стояла высокая такого же кирпича стена, а по углам стены вышки с прожекторами. Жуков подошел к проходной тюрьмы, но, прежде чем войти в нее, остановился, нарвал травы и стал очищать свои высокие тонкие сапожки, прямо-таки надраивал их.

— Видите, Елизавета Архиповна, где работает наш попутчик, — сказал, улыбаясь, Дуров. — В тюрьме.

— В тюрьме! — ахнула Маманя.

— В самой настоящей тюрьме, — кивнул Дуров. — В самых что ни на есть внутренних органах.

— Ах, батеньки! — Сообщение это почему-то просто потрясло Маманю. Она выпрыгнула из машины. — Ты меня, мальчик дорогой, здесь обожди! — И шустренько подхромала к офицеру Жукову.

Дуров смотрел, как они разговаривали, как Маманя что-то частила и хватала офицера Жуко-

ва за рукав и как тот хмуро ее слушал и важно кивал.

Через некоторое время подняли шлагбаум, сразу загудела сзади вся цементная флотилия. Какой вздор эта общительная Маманя, ее пожитки, проблемы, библиотекарша, лесной коллектив. Дуров нажимал на сигнал, но старушка в его сторону и не смотрела. Тогда он переехал через железную дорогу и приткнулся к какому-то покосившемуся заборчику. Грузовики обдавали его удушающими выхлопами, щебенка летела из-под огромных скатов, пыль оседала пластами. Дуров злился. Какого черта он здесь стоит, почему он дает себя вовлекать в разные никчемные истории, зачем он входит в чужие, совсем не нужные ему жизни? Если это называется „связь с народом”, то пошла она подальше, эта связь.

Над пылью захолустья, в чистом небе с увесистым грохотом прошел „ТУ-154”. Дуров позавидовал самолету — какая независимость, какой полный отрыв от народа! „Я еду в Ленинград, я начисто оторвался от народа и еду в Ленинград, где ждут меня друзья, тоже оторванные от народа, старые книги с обвисшей бахромой, истлевшие нитки, истлевшие связи с народом. Чугунное вычурное литье, бессмысленное, но чудесное. Тлеющие по каменным островам белые ночи, пользы от которых чуть — жалкая экономия киловатт, — а вреда значительно больше. Затруднительные отношения со своей собственной библиотекаршей. Встреча с Рокотовским, будущая совместная попытка возродить жанр, очень мало, должно быть, нужный народу. Рокотовский не стал бы в этой вонючке ждать Маманю. Выбросил бы ее пожитки из машины и уехал. У Рокотовского в принципе вообще нет никаких связей — ни с народом, ни с историей, ни с природой. В конце концов, может

быть, Рокотовский и соберет все угольки в своих грешных ладонях, он, может быть, и выдует стебелек огня?”

Тут подошла Мамадя.

— Ай, какой ты честный, мальчик дорогой. А я-то, баба старая, глянула — пропал мой багаж, и пятьдесят рубчиков в нем пропали! А ты, значит, очень честный, мальчик дорогой...

— Спасибо, что оценили, Елизавета Архиповна, — сухо сказал Дуров.

— На-кась!

Глазам своим не веря, Дуров увидел предложенный ему на чистой тряпице румяный творожник. Рукам своим не веря, взял его. Зубам своим не веря, съел. Показалось — вкусно.

— А Константин таперича у меня здесь! — Торжествуяще Мамадя похлопала по пузатому „радикулу”.

Они вырвались наконец из цементно-индустриального захолустья и неслись теперь посреди зеленой и привольной, чудной, как столица, русской равнине.

— Простите, что вы имеете в виду? — спросил Дуров.

— А то, что Жуков-офицер может приехать когда надо и в тюрьму его забрать, — похвалилась Мамадя.

— То есть как это забрать? Какое же он имеет право?

— Насчет прав не знаю, а раз он в тюрьме работает, значит, и упрятать туда человека может. — Мамадя поджала губы, но подумав, добавила: — За непримерное поведение.

— И вы решили своего зятя в тюрьму? — Дуров почему-то разволновался, крепче взял баранку в руки, потому что машину стало заносить на левую сторону.

— Какой же он мне зять, если дочь мою не милует! Не целует ее, не обнимает... — Голосок Мамани чуть дрогнул. — ...животик ей не греет... Рази это зять?

— Послушайте, Елизавета Архиповна, позвольте мне заметить, что вы ведете себя не очень-то морально. Не поговорив с Константином, не выяснив его душевное состояние, вы запасаетесь угрозами, к тому же довольно странного свойства...

— Сольцы! — Востроглазая Маманя углядела столбик с надписью. — Вот откуда мне уже три километра до лесного хозяйства. Останови, мальчик дорогой! Вот тебе на пивко с закусточкой.

Она хотела было уже подбросить водителю в кармашек горсточку денег, но тот вдруг резко переложил руль, и машина с маху вылетела на гравийную дорогу к Сольцам.

— А вдруг он по-настоящему, глубоко любит библиотекаря Ларису?! Вдруг это его мечта?! Как вы можете так резко вклиниваться в интимные человеческие отношения?! — сердито восклицал Дуров и, волоча за собой хвост гравийной пыли, приближался к темно-синей ровной стене леса, у подножия которого виднелись голубенькие и желтоватенькие строения.

— А ты сколько на морской службе получаешь? — вдруг спросила Маманя.

— В каком смысле? — Дуров передернул плечами. Что-то странное происходило с ним: он вдруг ощутил неуправляемость своих слов и поступков.

— Какой у тебя оклад? — осторожненько уточнила вопрос Маманя. — Рублей триста получаешь?

— Триста рублей, а что? — Станный, дурацкий ответ: почему триста, какой еще оклад?

— Жена, детки есть? Алименты выплачиваешь? — совсем уже тихонечко, будто сдунуть боялась, спросила Мамадя.

— Нет никого, ничего не выплачиваю. А что?

— Да ничего, мальчик милый, просто любопытствую у дорожного человека. А может, погостюешь у Зинаиды моей, а? Лесная тут дача, видишь? Кислород, тишина, опять же грибочки.

— Новый проект? — зло, но не безучастно усмехнулся Дуров, усмехнулся Мамане почему-то не как равнодушный попутчик, а как свой, вовлеченный человек. — Женить, что ли, меня надумали, Мамадя?

Машина перевалила через горбатый мостик, и они въехали на лесную поляну, на которой крестиком раскинулся невеликий поселок Сольцы. Пятна бледного солнца летали по огородам и крышам. Шаландалось на ветру разноцветное белье.

— Бабаня, бабаня с неба свалилась! — закричали двое голоногих мальцов лет семи-девяти и бросились к старушечке, которая тут же обмякла от кровных ошеломляющих чувств и едва не потеряла свою подсохшую ноженьку.

— Мамадя! Мамадя на личном автомобиле!

Дуров увидел, как с крыльца щитового домика сбегает, хохоча, Зинаида, красивая чудесная баба, как ни странно, в джинсах. Деревенская ситцевая кофточка и джинсы — очень получалось хорошо. И волосы нормальные, не уложенные, не накрученные, не начесанные, а спутанные, густые и развеваются в том же направлении, что и бельишко на веревке.

Она схватила ослабшую старушечку и всю ее затормошила, она просто разрывалась от хохота и пела:

— Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори до звездной полночи до самой...

Дуров ходил по скрипучему тротуару и с удовольствием разводил руками. Ему здесь оказалось привольно. На шиферной обыкновеннейшей крыше в обыкновеннейшем гнезде стоял аист.

— У вас здесь аист, — сказал Дуров Зинаиде.

— Он сольцьи хочет! — расхохоталась она. — Летел аист из Индии в Голландию, увидел внизу Сольцы и сольцы захотел. Здравствуй, аист, здравствуй, аист, как хорошо, что мы дождались!

Зрачки у Зинки были огромные и еще как будто бы расширялись с каждым словом.

Маманя тем временем уже окрепла и теперь важничала на правах приезжего человека.

— А кто директор этого коллектива? — тонким, на всю улицу сопрано вопрошала она.

Здесь я обойдусь и без Рокотовского. Это место, волшебным образом возникшее для волшебства. Быть может, именно здесь я попробую сейчас применить свой жанр. А если меня не поймут местные жители, если меня здесь изобьют, я останусь и повторю весь номер и буду повторять его до тех пор, пока они не привыкнут. Бывает же так, правда? Вот один певец несколько лет пел так, что его всякий раз били, а сейчас без него ни одна свадьба не обходится. А ведь поет он все так же, не изменил ни формы, ни содержания. Просто люди к нему привыкли, и это их право. Люди имеют право на привычку. Итак, за дело, здесь и немедленно.

Так размяшлял Павел Дуров, бодро шагая в сельпо за третьей уже поллитрой. Уже стоял над бором закат. Серенький денек вдруг превратился в огромный фантастический вечер. Дуров шел от заката, но все время оборачивался и радостно принимал лесные и небесные чудеса. Низкий силуэт леспромхозовских крыш с контуром аиста на Зинки-

ной крыше казался ему сейчас не менее волшебным, чем в свое время контуры Праги, скажем, или Манхаттана.

Кто-то сзади его догнал и взял за руку.

— Здравствуй, дорогой!

Стоял незнакомый мужик.

— Ты Константин?

— Я Иван.

— А я Павел.

— Вот и познакомились. Ты машину мою на туру-рупуй не видал? Потерял ее к туфалуям кошачьим.

— Какая у тебя машина?

— „Колхида”-гнида, савандавошка залеваеванная.

— Ты сквернословишь ни к селу ни к городу, дружище, — укорил Ивана Павел.

— Признаю. Стыжусь. Пошли машину мою по-ищем.

— Айда. Немедленно ее найдем.

Немедленно вдвоем они нашли грузовик Ивана, а в нем обнаружили еще одного мужика, Вадима.

— Быть может, мы все трое пойдем в домик под аистом? — предложил Павел. — Там наша Маманя пельмени приготовила.

— Я не пойду, — сказал Иван. — Боюсь. Зинка всегда ругается, что я ее за титьки буду хватать.

— А мне, когда выпью, бабу не хочется, — покрутил головой Вадим. — А тебе?

— Мне хочется чуда, — признался Павел.

— Во-во, мне тоже всегда добавить хочется.

На столе дымилась гора пельменей, а вокруг сидело склеенное Маманей семейство: детки в чистых одежках, Константин при галстукке, Зинаида и сама Маманя.

Зинаида была в голубом египетском пеньюаре, этом первенце молодой химической промышленности, на европейский манер открывавшем верхнюю

часть груди, тогда как нижние части, этот, как говорится, „самый сок”, пущены были напросвет. Глаза Зинка намазала страшнейшим образом, как в девичестве, бывало, делала, когда захлестывала ее хулиганская стихия, а губы ее, раскрытые в постоянном хохоте, с помадой, размазанной горячими пельменями, напоминали сейчас разлохмаченную осеннюю хризантему, хотя в сердцевине ее поблескивали вполне свежие зубки и огненный язычок.

— Ну смотри, смотри, Кастьянтин, где такую еще найдешь? — увещевала зятя Маманя. — Глянь на себя-то в зеркало, ты мужик ай-я-яй какой невидный, весь ты оплыл в дурацкой жисти, ни Богу свечка, ни черту кочерга. Глянь таперича на Зинаиду, голубку лазоревую. Да была бы я мужиком, чичас же накрылась бы с ней одеялом.

— Вы, Маманя, впрочем, несуразности при детях... — морщась, перебивал тещу Константин.

— Папаня — бесстыжий! Папанечка наш кобелячий! — ликовали с набитыми ртами детишки.

Константин морщился. Такая произошла незавязица, готовился к серьезному разговору, да позволил себе намешать, и вот сейчас клинышек прямо в висок, клинышек деревянным молотком кто-то вгоняет.

— Стою на полустаночке в веселом полушалочке... — хохотала Зинка.

Что с ней стало? Глаза горели. Такая баба без ложной скромности целиком футбольную команду за собой уведет.

Тут двери открылись и в горницу влез приبلудных дел мастер — „морячок” Павел Дуров, полные руки веселых напитков.

— А вы, Павел Аполлинарьевич, быть может, рассказали бы нам о заграничных государствах, где что

есть, какие цены, — светским тоном обратилась Маманя.

— Я сейчас видел в лесу костер, — заговорил с блуждающей улыбкой Дуров. — Смотрю, за соснами трещит, полыхает, напоминает что-то непережитое, то ли будущее, то ли прошлое, что-то несказанно прекрасное, неназванное... Понимаете, Зинаида? Что это у вас тут феи в коллективе, нимфы? Эллада? Хочется почувствовать у себя на ногах копытца. Близится время чудес.

Константин повернулся к гостю, кривой улыбкой на пол-лица выдавливая „клинышек”.

— Вот у вас, я вижу, товарищ Дуров, фигура спортивная, а если приглядеться бдительно, личность вы немолодая.

— Молодая! — вдруг гаркнула Зинаида, словно проглотив сразу весь свой хохот и лукавство и выставившись в центр комнаты ожесточенным измученным лицом. — Айдайте на спор, Константин Степанович, — кто моложе, вы или они? Хотите, сейчас же проверим?

Детишки, привычные к родительским беседам, тут же дружно заревели.

— Зинаида, Зинаида, — мягко урезонила дочь Маманя.

Однако Зинаида снова уже хохотала и лихо открывала все подряд бутылки, принесенные Дуровым, где вилкой, где ногтями, а где и зубами цапала.

Это неременная картина,  
Когда в сиянье юности огня,  
Когда тебя я вижу, Зинаида,  
Все сердце уж ликует у меня! —

так завопили за окном две пещерные пасти.

— Друзья, — сказал Дуров. — Редкие люди.

— Вадька да Ванька, пьянь да рвань, — повела египетским плечом Зинаида, встала и подошла к окну. — Ну чего, чего, — говорила она вниз в окно, где что-то ворочалось косматое и иногда поблескивали то глаз, то бутылка. — Ну чего вам? Идите прочь! Толку с вас! Ладно, ладно, на — потрогай и дуйте отсюда, опилки...

Дуровпил какую-то наливку, которая, казалось, язык приклеивала к небу. Сквозь пеньюар просвечивал женский зад в черных плотных трусах. Ладная баба, вполне ладная баба. Взгляните, какая линия спины, ни дать ни взять охотница Артемида! Вы, Константин, неприкаянный дружище, напрасно бросаетесь такой бабой. Вы бы сохранили ее на всякий случай.

— Я жизни другой захотел, — сказал ему „неприкаянный дружище”.

Белесые волосики прилепились к высокому лбу.

— Замечательно вы сказали, незадачливый мой дружище! — Дуров положил ему руку на плечо и заглянул в глаза. — А что, Лариса придет? Надеюсь, приглашена?

— Надеюсь, придет, — пробормотал Константин. — Только она не пьет. Покушает маленечко. Слегка покушает, конечно, если в нее Зинка горячим чайником не бросит.

— Алик, включай телевизор, — сказала Маманя внучонку. — Сейчас ваша детская будет вещания „Спокойной ночи, малыши”.

Четверть девятого по московскому. Дуров прислушивался ко всем звукам, к великому множеству звуков, окружавших его в лесном краю. Быть может, спустя долгое время, если он вспомнит этот вечер, все разговоры вокруг покажутся ему скучными и глупыми, а собственное поведение нелепым и позорным, но сейчас все звуки вокруг, все речи,

вздохи и междометия казались ему исполненными далекого смысла, да и сам он себе сегодня нравился, казался подтянутым, веселым и накрученным, готовым к любой неожиданности, более того — ждущим, вызывающим на себя эти неожиданности. Это было лучшее его состояние, которое появлялось в последние годы все реже и реже, а ведь именно вслед за ним, за этим состоянием, начиналось самое чудесное — открывались шторы заветного театра, начинался „жанр“.

— Паша, можно тебя на минуточку в огород на фулуфуй? — нежнейшим тоном спросили из окна два косматых друга.

Он вышел под песенку „Спят усталые игрушки“, в тот момент, когда Маманя начала драть Константину уши вроде бы шутливо, но очень больно, о чем можно было судить по застывшему на пухлом лице Константина изумлению.

Зинаида вальяжно, как нейлоновая Клеопатра, приглашающая Помпея во внутренние покои, поднимая широкие рукава, удалялась из горницы в опочивальню.

Дитяти, пофунивая и побунькивая, засыпали уже на тахте под телевизионным излучением.

— Щас из леса приходили, Павлуша, говорили: все четыре колеса у черестеганного „фиата“ на желупу конскую сымем, — сказали Дурову Иван и Вадим. Они лежали в огороде среди молодой картофельной ботвы, подложив под головы собственные ботинки.

— Кто приходил? Пан? Сатиры? — поинтересовался Дуров. — Кто здесь бродит ночами по лесу? Откуда запахи эти одуряющие?

— А я не чувствую, — сказал Вадим. — На те-ребафер нюх мне отшибло. Зинка выйдет, Паша?

— Короче говоря, товарищ проезжающий, пять рубчиков дашь — будут твои колеса целые, — официально предупредил Иван.

— А если десятку дам? — поинтересовался Дуров.

— А если десятку, значит, и фары останутся.

В это время офицер Терентий Жуков приближался на собственном мотоцикле к поселку Сольцы. Куда еду? — спрашивал он себя. — Какова цель? Цель — морально поддержать пожилую гражданку в ее нелегкой борьбе за целостность семьи, а цель, как пишут умные люди, оправдывает средства. Никогда сам себе не признаюсь, что сжигает любопытство к брошенной гражданке Зинаиде и к морально невыдержанному библиотекарю Ларисе. В пятиэтажном доме, где Жуков жил, сроду не происходило ничего подобного, а в тюрьме вообще все было нормально. Кроме того, рассчитывал, конечно, Жуков получить в лесной библиотеке что-нибудь из классики, к примеру „Лунный камень”.

Он не подозревал, конечно, что въезжает в зону чудес, да, признаться, так и не заподозрил до самого конца, и чудеса, которые ему попадались, таковыми не считал. Жизнь многообразна, так полагал офицер Жуков, и то, что мы порой принимаем за чудеса, на самом деле явления природы. Вот, например, огромный костер, который ослепил его при въезде в поселок. Другой бы подумал — чудо. Офицер Жуков решил — шлаки жгут. Женская тонкая фигурка извивалась в огне. Кто-нибудь сказал бы — ведьма, нимфа, саламандра. Офицер Жуков прикинул — здесь сегодня получка.

Между прочим, не ошибался офицер. Все мы угадали в Сольцы в день аванса. Тут уж, как обычно, то ли накушаешься с удовольствием, то ли голову сложишь.

— Вы здешняя? — спросил Жуков девушку.

— Меня оскорбили, — отвечала она. — Я хотела раскрыть ему новые горизонты, а он лишь увлекался моей плотью.

Она приблизилась к мотоциклисту и протянула узкую закопченную ладонь.

— Давайте знакомиться. Лариса.

...Довольный сделкой и все еще настроенный на чудеса, Дуров долго толкался в сенях, опрокидывая клетки с молодыми курами, разливая какие-то жидкости, пока не шмякнулся боком в войлочную дверь и не ввалился с ходу в опочивальню.

Печальная картина предстала перед ним. Ему показалось даже, что грубая, ржавая, саднящая, с жесткими нечистыми швами и щетиной в складках грубятина жизнь надвигается и вытесняет гладкое, как воздушный баллон, чудо, созданное уже им, но только не явленное еще миру. На полу сидела, разбросав отяжелевшие ноги и опустив набрякшие груди, постаревшая на двадцать годков Зинаида. Ни хохота, ни блеска не было уже в ее лице, но лишь тощища, глухая пудовая тощища. Одна лишь правая ее рука трепетала, будто пойманный стриж, и все хватала, все хватала маленький стерилизатор, в котором бренчали шприц и иглы, а вокруг разбросано было несколько малых ампул.

— Эй, кто ты такой? Помоги! — глухим, незнакомым голосом приказала Зинаида вошедшему.

— Ну, знаете ли, Зина, это не дело, это не дело! — горячо, не узнавая себя, на высоком подъеме заговорил Дуров. — Ваш смех, ваше чудо не из ампул этих дурацких, но из других сфер, дражайшая Зинаида!

Он отшвырнул ногой стерилизатор и стал поднимать Зинаиду с пола, засунув ладони ей под мышки.

— Кто ты такой? Кто ты? — вдруг детским голо-

сом захныкала Зинаида. — Пожалей меня, человек! Пожалей как можешь!

Как кипятком охваченный восторгом, он взялся ее жалеть. Она, раскинувшись, только хныкала, только жаловалась по-детски, а он жалел ее, захлебываясь и трясясь, будто всадник в стоверстной атаке. Потом она вдруг выгнулась мостом, а он проутюжил танком, и тогда они рухнули в постельный пух и мгновенно заснули.

— Ты, Кастянтин, будто жисти не знаешь, — все обрабатывала в горнице теща зятя, а сама уж косила глазом в привычную, неизбежно сосущую глубь телевизора. — А жисть каждый раз открывает нам виды. Пососи-ка стюдию шматок, гляди — полегчает. За непримерное поведение тебя добрые люди могут в тюрьму устроить. Какие такие новые жисти тебе Лариска открыла, окромя своих мослов? Вам нынче все предоставляют, а вы только рыгаете. Да взъерися ты, кислый человек, на-кась выпей браги!

Но Константин, однако, уже облегченно только улыбался, только лишь обвисал на стуле, а очи у него затекали, и не видел он сейчас перед собой ничего, даже сладенькой своей Ларисочки, которая всегда читала на ночь прямо в ушко „Дон Кихота”, испанскую книгу, даже ее не видел, а только слышал ее за стволами, в подлесе, куда полз его трелевочный трактор, и вот на него-то сейчас Константин и смотрел со слабой улыбкой, на мощный механизм, со слабой улыбкой надежды.

— Я лично работаю в бухгалтерии областной тюрьмы, — тихо повествовал офицер Жуков своей новой знакомой. — Я лично с преступниками разных мастей фактически не имею воспитательного контакта.

Они шли, держась за руки и раскачивая свое рукопожатие как бы в такт неслышной музыке, как в кино.

— Судьба послала мне знакомство с недюжинной натурой, — сказала, глядя в светлые ночные проемы на небе, библиотекарь Лариса.

— Это с кем? — поинтересовался Жуков.

— С вами.

Они перелезли через низкий заборчик и оказались во дворе дома, все окна которого ярко пылали. В торцовых окнах куковала перед телевизором старушечка Мамадя. В боковых висело имущество. На задах в огороде два мужика заглядывали в следующее оконце, ухали, валились в ботву, мяли друг друга. Поблизости остывал под бродячей луною шестиоконный темный „фиат“. Под ним и вокруг бегали молодые куры.

— Как давно уж мне не приходилось есть петушатины, — вздохнула Лариса.

Жуков тут же бросился в темноту как пловец и поймал того, на кого намекнули.

На экране телевизора Мамадя вдруг увидела председателя своего колхоза Фомича. Тот гулял по весенней земле, а в рот ему совали большущий клубень — микрофон.

— Мы увеличиваем с каждым днем масштабы подъема зяби, — воспитанным голосом говорил Фомич.

— Зяби, зяби вы мои, зыби, зыби зыбучие засыпанные! — во весь голос тут (благо вокруг все спят и за стенкой в опочивальне угомонились) возопила Мамадя. — Зыби, зоби, зябкие, озябанные, постные, зяби наши пскопские, зыби озерные осинные!..

Фомича на экране сменил гладкий господин в ме-

динских, конечно же, очках, который уставился Мамане в самую душу и сказал:

— К чему же стремятся национально-патриотические силы Ливана?

— Ливана, Ливанна моя заливанная, разливанная! — жалобно взяла верх Маманя, потом зачестила: — Али в ванне ты Марь-и-ванна али шаль твоя золотканная...

Тихо посапывали на тахте невинные внучата, и Маманя тихонько скребла им розовые пяточки для пушего улучшения улыбчивого детского сна.

Дуров проснулся среди ночи, услышав какой-то сокровенный треск, будто пальма сухая трепетала на ветру, и понял, что это аист на крыше крыльями разговаривает. Он посмотрел на спящую рядом фельдшерицу и пожелал ей добра. Пусть добро ее хранит, пусть подальше она живет от иглы и от темной бутылки, пусть блаженствует в добре. Зинкины губы зашевелились, и он услышал старинные французские слова:

— Ке сюи же веню шерше иси?.. Шерше иси?.. Ле мейер де шевалье де сетт терр, ле плю нобль э ле плю фьер... Ке сюи...

„Это не речь ли Эсмеральды?“ — подумал он. — „Слова идут в Зинкины уста из генетических бездонных колодцев“. — Так подумал, наивно хитря: дескать, не моих рук дело.

Он сполз с высоченной кровати, подтянул молнию и вышел в огород. Там его встретила молодая колдунья с закопченным счастливым личиком. Она протянула ему жареное куриное крыло и жестяную кружку с напитком.

— А вот и путешественник, о котором ходят уже толки в нашем лесу, — с милым жеманством произнесла она.

Над ней неподвижно висел в воздухе большущий аист, предлагал свои ноги для полета то ли в Индию, то ли в Голландию.

Дуров сунул поджаренное крылышко в карман и взял в свои чуткие ладони тонкие закопченные девичьи руки. Они смотрели друг другу в глаза и улыбались. Он чувствовал, что она его понимает.

— Ну! — говорила она. — Ну! Ну! Ну!

Аист, устав висеть, одним крылом облокотился о луну. Светило тем не менее чудесным светом заливало всю землю, и виден был каждый листик на картофельной ботве, и офицер Жуков мог прекрасно читать библиотечного „Дон Кихота”. Два мужика тем временем, Вадим и Иван, чесали друг другу животы и сквернословили, как галерные каторжане. На задах огорода скособочился дуровский „фитат”. Колес как не бывало, стоял на трех чурбаках и домкрате. Фар как не бывало, из зияющих дыр торчали зеленые ветви с ягодами.

— Удастся ли Мамане восстановить лесную семью? — спросил сам себя Дуров.

— Дальнейшее в вашей власти, — со странным проникновением говорила Лариса. — Чьих рук дело эти холодные костры? Откуда такая прыть у пожилого аиста? Вы и меня, скромную девушку, за семьдесят рублей зарплаты можете сделать колдуньей!

Он вдруг упал — голова закружилась. Легкое дурацкое падение — дескать, вы меня не за того принимаете. Она заплакала.

— Нет, не решаюсь, — пробормотал он. — Извините, Лариса, пока не вытягиваю. Желаю вам всем счастья и засыпаю.

Дрожа от холода, он заснул, а проснулся от благи и тепла. Пели недобитые петухи. Чудесное солнце грело растерзанную грудь. Он смотрел из-за

лежащей рядом с его головой оловянной кружки на весь земной порядок. Он не совсем отчетливо помнил события прошедшей ночи, чувствовал какую-то утрату, понимал: вот что-то было близко, но не свершилось, разгорелось почти вовсю, но погасло, — и все-таки он чувствовал себя счастливым оттого, что приблизился, почти уж решился распечатать мешки с реквизитом, был в двух шагах от „жанра”.

Утро было простое, отчетливое, с далекой обнадеживающей перспективой. Снизу, с поверхности земли, он видел дорогу. По ней, прихрамывая, удалялась Маманя. Она вела за ручки двух детей, Алика в красных штанишках и Танечку в желтой юбочке, своих невинных внучат, переданное через поколение семя. На бугре вся троица остановилась — цветные пятнышки на небе, черное, голубое, красное, желтое... Дуров приподнялся на локте. Маманя обернулась и сказала ему через полверсты:

— Пока мужик да баба промеж себя разберутся, я деток млеком отпою, витамином обеспечу, а вам, значит, всего хорошего...

#### СЦЕНА. НОМЕР ЧЕТВЕРТЫЙ: „ГЛЯДЯ НА ДЕРЕВЬЯ”

*Фокусы в городском парке. Музыкальное сопровождение — гарнизонный оркестр. Вальс „В лесу прифронтовом”. Дуров среди гуляющих.*

...Все в лунном серебре — так произнес японец, мечтая возродиться сосною на скале. Славянским многоречием заменяя дальневосточную сестру таланта, будем говорить так.

Благороден лик могучего созданья! Все тело сосны суть ее лик. Плюс корни. Корни сосны суть ее страсть. Плюс ствол и крона. Суть сосны — ее суть.

Отсутствуют окольные помыслы, страх и угодничество. Еще бы раз родиться сосною на скале!

Иногда сомневаюсь: не мала ли для человеческой души сосна? Иногда сомневаюсь: не велика ли? Иногда не сомневаюсь: кому-нибудь да удалось совпасть.

Венцом живой природы повсеместно признан человек. Умолчим о том, кем он повсеместно признан, и воспоем хвалу огромным деревьям, которые не претендуют на венец, но украшают флору.

Семиствольный пучок гигантских вязов с трепещущими под ночным ветром верхами — заблудись среди семи стволов и прислонись щекой к коре. Стань человеческим подкидышем в семье секвой, чудаковатым попрошайкой-императором меж двух гвардейских кипарисовых колонн.

Огромные деревья наполняют душу спокойствием: могущественная протекция. Под защитой, под покровом, под сенью буков, дубов, кленов, каштанов, берез, эвкалиптов чувствуешь себя надежнее, хотя они, казалось бы, не охраняют от зла, от тех персон, которым на флору наплевать, а такие среди нас есть. Отрешись, однако, от этих сомнений и положишься на деревья. Насколько хватит тебя учись у них героизму.

Вспомни и о листве. В юности белые ночи выводили на перекрестки, где под балтийским ветром кипела листва, а в ней мигали желтые светофоры. Глядя на листву, всякий раз вспоминай ту жадную и жалкую молодежь, свое поколение, что прошлепало сомнительными подошвами по Невскому на закат, к Адмиралтейству, и растворилось в кипящей, пронзительно холодной листве.

*Прогулка частично удалась. Несколько встревоженных взглядов. Два-три случайных поцелуя. Слевавшая с чьей-то щеки ностальгическая слезинка. Обошлось без проверки документов...*

## МОРЕ И ФОКУСЫ

Сейчас вокруг Харькова есть окружная дорога, а года два назад автомобилистам приходилось пробираться через весь огромный город, чтобы снова выйти на трассу Симферопольского шоссе. Конечно, все плутали, не только я. Помню, однажды раза три выезжал я кругами все на ту же Сумскую, главную улицу города, и всякий раз догонял там серенький „Москвич” самого первого выпуска, набитый людьми так, что, казалось, дряхлое железо выпячивается под боками, плечами и задами. Они, как видно, тоже плутали, бедолаги, и тоже меня приметили.

У светофора водитель „Москвича”, небритый малый лет сорока в пропотевшей ковбойке, ни дать ни взять золотоискатель, высунулся из машины и спросил:

— Ты тоже в Крым едешь?

Водители у нас почти всегда обращаются друг к другу на „ты”, как будто их связывает нечто общее, нечто спортивное. Это отголосок старых, дожигулевских времен, когда тяжелые высоченные „Волги” единицами плыли среди полей, словно барки в опасном океанском рейсе, и водители казались самим себе чем-то вроде капитанов, соратников по

опасному делу русского автомобилизма. Впрочем, сейчас-то как раз, в годы массовой автомобилизации, опасности на дорогах стало не меньше, но больше. Один солидный офицер ГАИ как-то рассказывал мне, что рост автотранспорта в десять или больше раз превышает рост автодорог. Я это чувствую на собственной шкуре. Казавшиеся раньше широкими и привольными, трассы теперь забиты сплошными встречными потоками коптящего, ревущего железа. Еще недавно я хитрил и выезжал ночью, чтобы проскочить подмосковную, скажем, зону без помех. Теперь ночная езда почти потеряла смысл: сотни таких же „хитрецов” шпарят по неостывающему асфальту, слепят друг друга фарами и раздраженно сквернословят. Вот еще любопытное явление: за рулем у нас сквернословят даже воспитанные люди. Тоже атавизм, конечно. Я, дескать, за рулем, эдакий brutальный мужчина... особый сорт... дело серьезное, резкое, железное... А дело-то как раз вполне обычное, нормальное, хотя и опасное. Должно быть, те, кому полагается, должны задуматься над приведенной выше грубой статистикой. Малопривлекательная фантастика, транспортный коллапс вполне может стать реальностью. Впрочем, я вовсе не собираюсь сейчас заниматься социологической публицистикой. Я собираюсь просто-напросто ответить на вопрос небритого малого в пропотевшей ковбойке.

— На юг еду, — ответил я.

— Я вижу, ты тоже плутаешь, — улыбнулся он. — Давай за мной. Теперь я точно выезд накнокал.

Я ему улыбнулся в ответ. Он меня просто очаровал этим словом — накнокал.

Тут дали зеленый свет, и все поехали. Я держался за „Москвичом”. Сейчас такие машины уже редко увидишь, а скоро они станут музейными. Сработанный сразу после войны, этот автомобильчик поче-

му-то оказался копией довоенного немецкого „опель-кадета”... Помню, мальчиком в 1948 году ошивался я как-то возле стадиона „Динамо”, и тут подъехал знаменитый форвард Бобров в таком автомобиле, а на капоте плюшевый мишка. Неизгладимое впечатление!

Сколько же напихал этот „золотоискатель” к себе народу? В маленьком заднем стекле виднелись две или три детские головки и, кажется, две еще женские впереди. Две женщины на одном сиденье? Трудно представить. На крыше у „Москвича” был привязан гигантский тюк всякого добра, должно быть дряни, разной ерунды, необходимой в хозяйстве. Сзади на буксире катила еще тележечка с багажом. Больше всего, однако, меня удивил номер — „ТЮ” 70-18. „ТЮ” — что это за индекс? Какая область? Ведь не Тюменская же, в самом деле. Впоследствии выяснилось, что именно Тюменская, что именно из Тюмени в Крым на собственных четырех колесах везет свою семью храбрый мужчина Леша Харитонов.

Так или иначе, но оказалось, что „ТЮ” 70-18 действительно верный выезд из Харькова „накнокал”. Прошло некоторое время, и наш маленький отряд оказался на Симферопольском шоссе. Был уже вечер, в город тянулись колонны отработавших грузовиков, но на нашей стороне шоссе было свободнее, и потому нам пришлось расстаться. Конечно, „золотоискатель” очень старался, давил изо всех сил на железку, но, увы, там, где старенький „москвичонок” уже кончает, то есть на семидесяти км/час, новенький „жигуленок” только начинает. Я немного проехал ровень с ним, открутил правое стекло и сказал:

— Извини, друг!

„Золотоискатель” мрачно кивнул:

— Понимаю, понимаю. — Вдруг он просветлел неожиданно и ярко: — Через год и у меня такая будет!

— Ну вот и отлично. Пока, — сказал я.

Из „Москвича” меня на прощанье облаяли. Оказалось, там еще и собачонка где-то копошится. Трое детей, две женщины и собачонка. Я рассмеялся. „Золотоискатель” тоже. Мы расстались дружески. Я чуть поджал педаль акселератора и вскоре исчез из виду.

— Столько дыр в доме, а он „Жигули” собрался покупать, — глядя в окно на догорающие головешки украинского заката, сказала теща.

— Вам плохо, мама? — резко отозвался Леша Харитонов.

Обжорка залаял. Дети засмеялись.

— Леша, Леша, — полусонно пробормотала жена.

— Остановите, Алексей, я выйду! — потребовала теща.

Так она с самого начала все порывалась выйти — и среди сибирских болот, и в Уральских горах, и в Заволжье.

Вдруг — гломп! — лопнула камера! Задняя левая. Леша крепче вцепился в баранку, сбросил ногу с газа. Заднее левое проскрежетало ободом по асфальту. Значит, надо выходить перемонтировать шину — в который уж раз! — вулканизировать последнюю запасную камеру, которая хоть и запасная, но с двумя дырками.

В общем, не соскучишься. Проклиная тещин черный глаз, Леша приступил к делу. Привычное семейство высадилось, посыпалось через кювет в поле запаливать костерок, ужинать. Леша уродовался с шиной, прислушивался к визгливому тещиному голосу и думал, что зря он ей самолетный билет не купил. Таким бабам на самолетах надо летать. На них лучше не экономить. Пусть самолетами летают,

с глаз подальше. Честное слово, пусть бы лучше в самолетах летали, места в автомобиле не занимали. Пожалуйста, вот вам билет на самолет, а мы без вас поедем, своей семьей, своим первичным коллективом, и Обжорка, к слову сказать, будет меньше нервничать. Летайте самолетом, выигрыш — время!

Шина вдруг легко пошла под монтировку, и Леша Харитонов с неожиданной легкостью выгацил диск колеса. Тогда подумал он иначе. В общем-то, подумал он, в присутствии тещи есть какой-то смысл. Не было бы ее, на кого бы тогда злился? На супругу, значит, Наташку, на ребят, на Обжорку, а еще, чего доброго, и на автомобиль свой несчастный. Теща в семье, подумал он, это нечто вроде заземления. Пусть так, пусть едет. Будем лаяться за милую душу.

Конечно, нервы у семейства Харитоновых были уже на пределе. Они ехали из Тюмени двенадцатый день, и бесчисленные поломки, ночевки в поле, в дрянных кемпингах, у дальних родственников — все эти удовольствия вконец их доконали.

Лешина машина родилась почти как „гомункулус” — из грязи. Кузов он нашел на свалке, выколотил его собственноручно, отрихтовал и покрасил. Все сам своими золотыми. И дальше все — и задний мост, и передний, и движок, и буквально каждый шпунтик Леша годами собирал, где покупал по дешевке, где выменивал и вот к текущему сезону собрал чудо на колесах. Конечно, техосмотр пройти на таком аппарате даже в Тюмени нелегко. Трижды являлся Харитонов в ГАИ и трижды хлебал фиаско. Наконец „купил” инспекторов сногсшибательным приспособлением — электрическим табло „пристегните ремни”. Садись, ключ поворачиваешь, а машина не заводится, и только табло мигает. Пристегнешь ремни безопасности — табло гаснет и движок

начинает стучать. Вот какая технология под названием „самострой"! Инспекторы чрезвычайно Лешей восхитились и выписали техпаспорт. Ну, Харитонов, сукин сын, как говорится — алло, мы ищем таланты. Сам Леша себя талантом не считал, но по автомобилям с ума сходил. Был он инженером домостроения, но настоящее свое призвание видел только в автомобилях, пылал к ним огненной страстью. Дружок, работавший по контракту в Алжире, присылал ему заграничные автожурналы, и Леша всегда был „в курсе". Бывало, дико огорчался, когда узнавал, к примеру, что фирма „Фольксваген" собирается прекратить выпуск своих „жуков". Казалось бы, что ему в Тюмени до „Фольксвагена", а он переживал. И вот наконец первые реальные плоды — путешествие к морю, к умопомрачительно далекому теплому морю. Леша, полечись, советовали друзья, не доедешь. Полечись заранее, а то потом не вылечишься. Шутите? — усмехался Леша. Шутите, ребята? Шутите, что ли? Семья в него верила — и супруга Наташка, и старшая девочка Светка, и малышка Людочка, и Обжорка, собачий сын, а особенно Витаська восьмилетний, тот весь прямо трясся от веры в папку и в чудо-автомобиль. Не верила, конечно, теща, но и она, как видим, поехала. Они давно уже все мечтали о море.

— Алексей Васильевич, прошу к столу, — ядовито из-за кювета проскрежетала теща. Каждую трапезу у костра она вот так ядовито ему предлагала, будто и в том он виноват, что не ждет их в поле стол с крахмальной скатертью.

Суп макаронный, однако, был горяч, хорош.

— Ну что, починил, папка? — басовито спросил Витасик.

Леша Харитонов поднял голову от кастрюльки и

заметил, с какой измученной надеждой смотрят на него члены семьи, как мерцают их глаза.

— Порядок, — сказал он. — Железо. Сейчас поедем.

— Глядишь, через месяц и доберемся, — сказала теща.

— Эх, мама! — Леша вдохнул всей грудью теплый пыльный украинский воздух. — Хоть бы уж завязывали язвить. Гляньте, мама, вокруг Украина. Знаете вы украинскую ночь? Слышите звуки? Слышите, стригут на полных оборотах? Цикады...

В травах действительно жужжали, стригли насекомые, и хотя это были еще не цикады, а простые жуки и кузнецы, все семейство, включая, кажется, и тещу, поверило — цикады, а Светка положила папе на плечо свою одиннадцатилетнюю головку.

Между тем я — про меня-то, Павла Дурова, не забыли? — гнал свою машину в темноте на ровной скорости, что-то около сотки, курил и думал о своей дороге. Куда опять меня понесло? На юг, сказал я тому „золотоискателю“, что вытащил меня из Харькова. Это был самый простой ответ. Между тем в кармане был заграничный паспорт, и я мог в любое время пересечь государственную границу. Несколько друзей ждали меня в дешевом отеле на Золотых Песках — один болгарин, один японец, немец из Берлина, американец, поляк, двое наших. Вместе со мной должно было собраться семеро. Семеро из пятнадцати. Артисты архаичного, вымирающего жанра. Договорились только отдыхать, болтаться, ни слова о работе, о распроклятых муках творчества, ни слова о „жанре“. Каждый, однако, понимал, что после первой же рюмки начнется неизбежное — бесконечные, коптящие душу разговоры, споры, жалобы, и все на одну тему. Мы вымираем. Никто уже почти не приходит на площади. Не вынести ли все на природу? Хорошо, если государство ока-

жет поддержку. Что ж в этом хорошего — превращаться в музейные экспонаты? А если мы никому не нужны, то, значит, мы и вообще не нужны. Мы сами себе нужны, а для меня это главное. Однако согласитесь, что мы все что-то теряем, уже потеряли. Не будем ли мы сами вскоре смеяться над нашими скачками поперек площади, над музыкальными фонтанами, над светящимися красками, над всеми этими взрывами, дымами, провалами в преисподнюю, стриптизами, гениальными виртуозо и гулким чтением в ухо соседу? Недавно какой-то оператор снимал выступление одного из нас — и получилось! Забавненький такой получился придурковатый сюжетик. А ведь не должно н и ч е г о получаться! Киноленка не может фиксировать н а ш ж а н р ! Мы теряем не только поклонников — мы теряем уверенность, вдохновенье, самих себя: наш жанр убегает у нас из-под колес...

К чему приведут все эти разговоры? Разве можно нашему брату собираться в таком огромном количестве — семеро! — на одном берегу? Словом, я не торопился поворачивать колеса в сторону Болгарии. Поеду просто на юг, как-нибудь не торопясь доберусь. Как-никак доеду до Одессы, а там погрузь на морской паром до Варны, а может быть, через Киев к западной границе, в Подрубное, и дальше через Румынию... В общем, торопиться не буду.

Как только решил я не торопиться, так сразу и увидел справа от дороги на холме силуэты машин, большой костер и фигуры людей. Так часто на дальних трассах машины сбиваются к вечеру в кучку и водители коротают ночь у костра. Иногда там бывают разные чудачки, смельчаки, весельчаки. Я приткнулся к обочине, заглушил двигатель и сразу услышал взрывы хохота. Вот здесь и переночую, раз торопиться некуда. На первой скорости я переехал

через неглубокий кювет, взобрался на бугор и подъехал к костру.

Там стояли здоровенный рефрижератор, два грузовика и несколько легковых. У одной из них был разворочен передок. Облицовка разбита, фары вывернуты, крышка капота коробом. Хозяин пострадавшего „жигуленка”, крепкий молодой парень, желтая майка ключьями на широченной груди, громко и слегка истерически хохоча, рассказывал — должно быть, не в первый раз — о своем „дорожно-транспортном происшествии”.

— ...а кто виноват? Он виноват! Я левую мигалку врубил, а он нет!

Я попросил его повторить свой рассказ, и он охотно повторил. Происшествие оказалось хотя и дорожным, но не совсем транспортным, только лишь наполовину. Парень пер на юг, держал все время скорость сто двадцать, обгонял все машины, так сказать, щелкал их одну за другой, и вот на одном обгоне лоб в лоб сошелся с кабаном. Чья вина? Конечно кабана. Парень левую мигалку-то включил, а кабан забыл, нарушил правила обгона. Ну, скорость у лесного великана тоже была приличная, вполне капитальная была скоростенка! От такого удара даже мотор у парня (его звали Владя) заклинило. Пришлось двумя машинами растаскивать передок. А что кабан? С ним все в ажуре — нашли! Жарим! Сейчас все будем угощаться. Сейчас Владя нас всех угостит своим кабаном. Вон там внизу его жарят.

Я посмотрел — за бугром в песчаной яме горел еще один костер, и там несколько фигур (среди них один инспектор дорнадзора) крутили импровизированный вертел, на котором солидно висела туша нарушителя правил обгона. Помните о кабане, друзья! Всегда включайте левую мигалку при обгоне.

Очень веселая подобралась в этом лагере компания. Никто не собирался спать, и один за другим все рассказывали дорожные истории. Как-то естественно подошла и моя очередь хоть что-нибудь трепануть, и я рассказал о путешественниках из Тюмени, которых недавно обогнал, и, конечно, приврал, что они не из Тюмени едут, а из Иркутска, а на буксире, мол, везут ящики с черноземом, в которых выращивают редиску.

В середине ночи еще произошло одно событие. С бугра кто-то увидел на лунном асфальте неторопливо катящегося монстра. Огромный американский конца шестидесятых годов, что называется, „четырехспальный” автомобиль ехал на север задом, красными невидящими стоп-сигналами смотрел вперед, а фарами светил назад. Что за чудо? Я даже подумал сначала — не подкидывает ли мне этот трюк кто-нибудь из наших, а то, чего доброго, уж не сам ли я колдую? „Кадиллак”, однако, оказался вполне реальным. Увидев наш костер и бивак, он свернул с шоссе и полез в гору — и все на задней скорости! Вышли из него два немногословных худющих парня в кожаных куртках. Оказалось, киноавтотрюкачи Алик и Витя перегоняют гроб с музыкой на „Мосфильм” из Ялты, где он помогал изображать заграничную жизнь. За Зеленым Гаем полетела коробка передач, включается только реверс, то есть задняя скорость, но ничего — бывало в жизни и не такое, доедем, не сдохнем, благо ночь лунная, пожрать тут у вас не найдется?

Очень быстро оба каскадера притерлись к собравшемуся у костра обществу, хотя, казалось бы, к шуткам не были расположены. Нашлось там и вино, дешевое крымское „било”, и гитарка, и девочки там какие-то шмыгали, а вскоре все стали угощаться жареной кабанятиной. Я понял, что каскадеры

не очень на свой „Мосфильм” торопятся, как и я не очень спешу в Болгарию.

Открыты Дели, Лондон, Магадан,  
Открыт Париж, но мне туда не надо! —

пел Алик хриплым голосом, почти как оригинал.

Кто там был — точно не помню. Что там было — точно не знаю. Отчетливо остались в памяти запахи: звезды над степью пахли чебрецом, кабан аппетитно смердил болотом, мимолетное веселенькое существо благоухало кондитерскими запахами пудры и помады. Конечно же, я не знал, что глубокой ночью мимо бивака прокатил „ТЮ” 70-18 и Леша Харитонов с мгновенной завистью глянул на холм, на силуэты бродящих вокруг костра людей. Проснулся я, когда из машины моей кто-то ушел. Белесая, как облачко, луна еще висела в светлом небе. Разгоралась заря. Видимость была чудесная, каждая складочка рельефа отчетливо обозначалась до самого окоема. Чуть-чуть знобило от легкого восторга. Похлопал себя по карманам, заглянул в „бардачок” — все цело. Нет-нет, мизантропии нет места в этой округе. Чудесные повсюду люди, великолепные! Включил зажигание. Бензина в баке было много, литров тридцать. Нужно немедленно уехать, чтобы так все и осталось в памяти: чебрец, болото и сласти. Пока, народы!

Шоссе в этот час было почти пустое, сухое и чистое, я разогнался на славу и шел больше часа, почти не снижая скорости. Тогда еще не было на дальних трассах ограничений. Бывает такое состояние, когда вроде и спешить некуда, но ты гонишь, гонишь и малейшее снижение скорости тебя огорчает, будто что-то потерял. Именно в таком состоянии я и проскочил мимо перевернувшегося вверх колесами „ТЮ” 70-18.

Я только успел лишь заметить, что все, кажется, живы. Машина лежала на крыше в глубоком кювете. У обочины стоял патруль ГАИ и „скорая помощь”. В кювете копошилась небольшая толпа, в которой возбужденно размахивал руками небритый „золотоискатель”, а пассажиры его, женщины и дети, кажется, сидели на траве и, следовательно, кажется, были живы. Отчетливо я увидел только девочку лет одиннадцати в грязном платице. Она стояла в стороне от всей суматохи и горько плакала, плечики тряслись. Остался и жест ее в тот момент, когда я проносился мимо, — она поднимала локоток, закрывая лицо, а другой рукой стирала со щек слезы. Слезы, видно, были неудержимыми. Профузное, как говорят медики, слезоточение. Вот загадка, подумал я. Почему человек плачет в моменты потрясающих огорчений? Что означает это влаговыделение? Защитная реакция? От чего же защищают слезы? Почему организм избавляется от влаги в моменты горя? Влага — жизнь, тело состоит на девяносто процентов из влаги. Избыток жизни, что ли, вытекает? Избыток жизни — влажная медуза горя? Что же я за сволочь? Почему я так гнусно рассуждаю и не снижаю скорости, не торможу, не поворачиваю к месту происшествия? К чему я им там, однако? Кажется, там все на месте — и врачи и милиция. Все, кто может помочь. Я-то ведь ничем им реально не смогу помочь. Машину можно перевернуть только краном. Народу там много, милиция на месте, врачи на месте. Конечно-конечно, и мне слезы ребенка дороже радужных перспектив человечества, но чем я могу помочь девочке? Своим „жанром”, своим маловыразительным шарлатанством? Это ей сейчас ни к чему. Она должна выделить свой избыток влаги. Это защитная реакция организма.

Так я рассуждал, злясь на себя, и начал уже курить и радио уже включил, нащупал бодрые голоса брекфест-шоу, а сам все гнал и гнал и, не глядя на спидометр, знал, что у меня получается уже за сто двадцать.

Между тем на шоссе становилось все веселее. Все больше встречных и попутных. В середине, впрочем, было достаточно места для обгона, и я щелкал попутные одну за другой, заботясь лишь о том, чтобы встречные не высовывались, орудуя, стало быть, мигалкой. В зеркало я видел, что за мной идет, держа метров сто дистанции, точно такой же, как мой, „фиат“, только голубой. Он шел на той же скорости и делал все как я, повторял все маневры. Так мы мчались: техника, Европа!

Впереди появился высоченный шкаф рефрижератора. Привычно, почти уже рефлекторно я пошел на обгон и вдруг в самом начале маневра почувствовал, что он, то есть рефрижератор, не хочет, а если и хочет, то не очень. Не знаю, характер ли подлый был у водителя, или он просто устал и слегка клюнул носом (скорее всего второе: водители междугородных холодильников в основном приличные ребята), так или иначе длиннющая громадина все больше набирала скорость да к тому же отклонялась все ближе к осевой полосе, то есть выталкивала меня на сторону встречного движения. Конечно, я обогнал бы его, потому что выше сотки „ЗИЛ“-рефрижератор не сделает, и я уже был в середине его длинного туловища, но тут из-за поворота навстречу мне выскочил еще один „фиат“ — желтый! Все, что дальше произошло, взяло времени меньше, чем нужно для прочтения этой фразы. Встречный „фиат“ обладал преимущественным правом проезда, и он неумолимо желал им воспользоваться. Не снижая скорости, он гневно сигналил мне фарами —

прочь, мол, с дороги! Он не понимал, что я уже не успею спрятаться за холодильник, а делал все, чтобы я не мог и вперед проскочить. Мы шли лоб в лоб. Конец, подумал я и ничего не вспомнил, что было в жизни, ни единого пятнышка, а только лишь представил, какая сейчас будет неслыханная боль. Нога ударила в тормоз.

В последнюю секунду встречный тоже не выдержал и ударил в тормоз. Затем произошло следующее: холодильник проскочил вперед, меня раскрутило вправо, встречного влево. Между двумя крутящимися машинами пулей пролетела третья, та, что шла позади и делала все как я. Не удержавшись на шоссе, она вылетела вправо, перепрыгнула через кювет, чиркнула боком по дереву, уткнулась носом в кустарник и заглохла.

— Твою мать! Вашу мать! Иху мать!

Вокруг орали, а я сидел неподвижно в своем кресле совершенно невредимый. Машина нависла передними колесами над кюветом. Я тупо смотрел, как из голубого „фиата“ выходят невредимые люди. Никто не пострадал в этом страшном мгновении. Адский огонь лишь опалил всех участников.

Мгновенная дикая лихорадка вдруг потрясла меня от макушки до пят. Адреналиновый шторм колошматил сердце о ребра. Как это случилось? Как произошло то, что я уцелел? Это мгновение было конечным, безошибочно летящим прямо в лоб. Мизансцена была поставлена точно, мастерски, но странно, немислимо — режиссер зазевался и чей-то палец выключил пульт в последнее мгновение. Как выразительны слова „последнее мгновение“, как продолжительны! Так же продолжительны, как и мгновенны! Смерть без подготовки, без отпущения грехов... Все свои грехи в охалку — и марш! И ни о чем не вспомнишь из огромной покинутой жизни,

ничего из так называемых сильных впечатлений не промелькнет в течение последнего мгновения! Даже самое свежее сильное впечатление, образ плачущей девочки, не возникло перед тобой. Все твое гигантское „последнее мгновение” было заполнено заячьим страхом боли...

Я выкрутил колеса, вырулил и, не глядя на остальных уцелевших (впрочем, и они ни на кого теперь не глядели), поехал в обратную сторону, на север.

Очень быстро я оказался в том месте, где все еще лежал колесами кверху несчастный „ТЮ” 70-18. Милиция и медицина уже уехали. Из любопытных и сочувствующих остались три-четыре человека. Глава семьи лежал в траве и остекленело смотрел в небо. По кювету был разбросан тюменский скарб — дряхлые чемоданчики, кастрюли, миски... Семейство молча сидело посреди разгрома. Мальчик бессмысленно строгал палочку. Старшая женщина держала на руках малютку. Та, что помоложе, должно быть жена водителя, заплетала косу, и это тоже было долгое бессмысленное дело. Девочка уже не плакала, но дрожала. Беспородная смышленная собачка тихо скулила. Конечно, она понимала, что ей бы тоже надо помолчать, но не могла сдержаться и скулила, виновато поглядывая то на одного, то на другого.

День над всеми нами уже образовался и висел теперь серый, теплый и давящий, гнусный день беды.

— Что же ты теперь собираешься делать, друг? — спросил я „золотоискателя”.

Он вскинулся:

— Понимаешь, тормоза провалились! А впереди автобус шел! Тормоза провалились! Трубка лопнула!

Должно быть, в сотый раз уже он выкрикивал эти фразы, теперь уже с бессмысленным ожесточе-

нием. Я присел рядом с ним и нажал ему ладонью на плечо.

— Я тебя не о трубке спрашиваю. Какие дальнейшие планы?

— Вы что, издеваетесь? — сказала старшая женщина.

— Скоро гайшники кран пригонят. Перевернемся. Чиниться будем, — стертым глухим голосом произнес глава семьи.

— А вам-то какое дело?! — вдруг со злостью повернулась ко мне девочка. Глазки у нее выпучились, как у лягушонка. — Все равно мы до моря доедем! Папка машину починит — и доедем!

Мальчишка вдруг размахнулся и швырнул свою палочку прямо мне в лоб. Я успел, однако, протянуть руку и поймал ее.

— Алле! — сказал я. — Разрешите представиться. Павел Дуров, артист непопулярного жанра.

Палочка встала торчком у меня на ладони и, конечно, тут же распустила крылья. Какие чудеснейшие оказались у нее крылья, всех красок спектра и чуть-чуть потрескивающие. Подброшенная с ладони, она поднялась метров на пять и оживила серый день своим великолепием. Кажется, фокус удался — день катастрофы чуть-чуть ожил. Как будто меньше стало гнусности. Да, кажется, этот день потерял немного своей гнусности. Я протянул мальчику веревочку.

— Держи. Дарю тебе этого змея. От души отрываю.

— Почему же вы непопулярны? — спросила жена.

— С такими фокусами можно прославиться, — сказала теща.

— С такими — да. Но у меня, увы, другие. — Я улыбнулся им всем печально — дескать, не только они одни у судьбы в загоне.

Печальная улыбка понравилась, кажется, не меньше, чем цветной калифорнийский змей. Вскоре я познакомился со всеми Харитоновыми.

— Слушай, Леха, — сказал я (так уж пошло — Пашуха, Леха). — Ты здесь со своей тачкой не меньше недели продудохаешься, а семейство твое сгниет.

— Это точно, — кивнул он.

— Есть предложение. Я всех их забираю. Всю твою мешпуху, а ты пока починишься. Только тарелки не возьму. Обжорку, конечно, возьму. Короче, всех беру и за один день доставлю к синему чуду природы.

У всех Харитоновых вспыхнули глаза, но криков радости не последовало, напротив, они настороженно замолчали, явно не решаясь согласиться или возразить, выразить восторг или презрение, явно медля с ответом. Ответ зависел, конечно, от Светланы. Непосредственный Обжорка, тот просто подбежал к девочке и положил ей мордочку на колено. Выяснилось вдруг, что именно это одиннадцатилетнее существо дает ноту всему септету.

— Что это значит — синее чудо природы? — осторожно спросила она. — Море, что ли?

— В данном случае Черное море, — сказал я ей. — Древние называли его Понт Евксинский.

— Надувательства не будет? — Она чуть-чуть подняла глаза в направлении калифорнийского кайта, который все еще с дурковатым нейлоновым оптимизмом потрескивал щедрыми крыльями.

Я был слегка пристыжен.

— О Света, можешь не волноваться. Море будет настоящее.

— В таком случае... — протянула она.

— В таком случае едем, едем!

И вот мы едем к Черному морю и приехали к Черному морю. Оно шумело за холмом не очень

сильно, но явно. Я его хорошо слышал, а мои пассажиры нет — ведь они никогда не встречались с морем за исключением тещи, которая в 1951 году побывала в санатории имени Первой пятилетки, но тогда она морем не особенно интересовалась, а больше ударяла по сухому вину.

Вокруг были кирпичи — запретные знаки. На автомобиле прямо к берегу теперь нигде уже не поедешь, только в Планерском осталось, кажется, местечко у старой котельной. Пейзаж — серые холмы, известковые обрывы. Мне он казался романтичным, потому что связан был с воспоминаниями, на пассажиров же вроде лишь тоску нагонял. Восточный Крым.

— Дядя Паша, скоро мы увидим море? — спросила Светланка.

— Терпение, ребята, терпение, — слукавил я. — Пока что сделаем привал.

Мадам Харитоновна с маменькой взялись готовить очередной пикник, а я посадил крошку Людочку себе на шею и предложил ей собственные уши в качестве руля. Пригласил прогуляться Светку и Витасика — дескать, ноги хочу размять. Обжорка — кстати говоря, деликатнейшая собака с умеренным аппетитом — в приглашении не нуждался. Мы пошли в гору.

Медленное движение. Светка собирает жесткие полупустынные растения в классный гербарий. Витасик крутит носом, показывает самостоятельность. Я дико волнуюсь — настоящее ли откроется нам чудо природы.

Оказалось — истинное! То самое, кому „не дано примелькаться”. Огромное, свежайшее, то самое, что всякий раз вызывает во мне юношеский восторг. То самое — „Гомер, тугие паруса...”. Гремучая бессонница, бесконечная живость и далее — бескрайнее воображение.

Как ни готовились дети к этой встрече, но были ошеломлены. Все тут нахлынуло на них и все настоящее — и ветер, и запахи, и мокрая галька, и сладкая, может быть, тревога будущей жизни. Они не закричали, не завизжали, не засмеялись, не запрыгали, но молчали в провинциальной застенчивости. Светка в ее едва просыпающейся женственности смотрела на море исподлобья, как на внезапно вошедшего в комнату огромного сокрушительного Дон Жуана. Витасик пьжился — дескать, ничего особенного, — а сам трепетал. Любочка у меня на шее притихла. Один лишь Обжорка, который черт знает что видел в море, кроме восторга, разрываясь от лая, бросился вниз, был отброшен волной и мокрый, неслыханно жалкий закрутился волчком. Мы сели на гребне галечного пляжа. Вокруг было пусто.

— Вот это море, — сказал я.

— Приехали, — тихо сказала Света.

— Вы не смущайтесь, ребята, — сказал я. — Море хотя и чудо, но в нем нет ничего особенного.

— А то я не знаю, — прокарабасил Витасик.

— По сути дела, мы, люди, тоже чудесны, хотя в нас нет ничего особенного, — добавил я.

— А то мы не знаем, — сказал Витасик.

Неожиданно я снова сильно разволновался. Мне показалось, что приближается сокровенная минута. Мне захотелось вдруг показать усталым детям что-нибудь из нашего „жанра”. Мне захотелось, чтобы на горизонте появился сейчас розовый айсберг. Мне неудержимо захотелось сделать это немедленно, но я боялся, что ничего не получится.

Розовый айсберг появился на горизонте и весьма отчетливо приблизился. Сияли под летящим солнцем отвесные стены розового льда. Сладкий айсберг тихо и торжественно приближался к нам, ко мне

и детям. Линия морского горизонта поднялась над ним, и он вошел в медлительный дрейф вдоль берега. Я понял, что он приплыл сюда из Болгарии, что это не только моих рук дело, но и тех шестерых, что ждут меня на Золотых Песках, а раз так, то, значит, есть все-таки какой-то смысл в нашей дружбе, в нашем союзе.

— Видите, ребята, айсберг? — спросил я.

— Он настоящий? — спросила Света.

— А мы с тобой настоящие? — спросил я.

— Не знаю, — сказала она. — Может быть, мы тоже чьи-то фокусы.

— Возможно, — сказал я. — Но почему бы и айсбергу не быть с нами? Розовый айсберг — чем плохо?

— Класивый, — сказала Людочка.

— Он на четыре пятых скрыт под водой, — пояснил я.

— А то мы не знаем, — пробасил Витасик.

#### СЦЕНА. НОМЕР ПЯТЫЙ: „РАБОТА НАД РОМАНОМ В ВЕНЕЦИИ“

*В Клубе интересных встреч электролампового завода. Обмен зарубежными впечатлениями. Дуров развешивает цветные фонарики со свечками внутри.*

...Ослепительная жара на площади Святого Марка. Сажу у маленького столика со стаканом швепса и чашкой кофе. Пишу эту сцену. Лучшего мне не надобно наслаждения. В отдалении струнный оркестр кафе „Флориан“ играет вальсы. Мимо идет однокурсник, ныне профессор естествознания. Он в составе туристической, специализированной по естественным наукам группы.

— Ты и Венеция — как-то не вяжется. Что ты здесь делаешь один?

— Здесь, в Венеции, один я работаю над романом.

— Ты и роман? Как-то не вяжется. О чем будет роман?

— О том, как я работал над романом в Венеции.

— И тебе за это деньги платят?

— Нет, я сам за это плачу.

— Но стаж-то идет?

— Стаж, конечно, идет.

Стаж увеличивался с каждой минутой венецианского наслаждения. Вот одно из чудес века социального обеспечения — оптимистический рост стажа с каждой минутой и день за днем. Жизнь утекает, стаж растет. Расширение зоны надежности. Броня благоденствия.

Шарлатаны голуби стайками перелетают от туриста к туристу, и вслед за каждой стайкой надвигается чучело фотоаппарата на скрипучей треноге. Пронто! Пронто! Бойко выщелкиваются лиры из карманов. Я поднимаюсь и, шаркая индийскими бо-соножками, плетусь по солнцепеку к колоннаде. Исполненное достоинства бегство. Мне лиры нужны самому для работы над романом в Венеции.

Мой стаж увеличился еще минут на сорок, когда на мосту Риальто я встретил соседа по гаражному кооперативу. Он был в составе профсоюзной, специализированной по охране окружающей среды группы. Сразу вспомнились подробности наших пустяковых взаимоотношений. Например, он обращается ко мне всегда почему-то в третьем лице. Скажем, звонишь ему, называешься и слышишь в ответ: „Он звонит? Ему что-то нужно?“ Сейчас, на мосту Риальто, сосед приветствовал меня каким-то странным жестом с привкусом неожиданной спортивности:

— Ха-ха, вот и Дуров! Говорят, он здесь работает в новом жанре? Пишет роман?

— Слухи точны, — сказал я.

— Он чувствует на себе здешнюю сырость? — спросил сосед.

— Пока нет, — ответил я.

— А замечал он в каналах страшную грязь?

— Не очень.

— Согласен, — хохотнул сосед. — Вода приблизительно чистовата. Город относительно великолепен.

Над Гранд-канале работают светофоры, пропускающая транспортные потоки — корабли-автобусы, баржи-грузовики, катера-такси. Прожариваясь на слепящем солнце, я пишу роман в Венеции.

Маленький канал, над которым я живу, действительно слегка подвдвигает юношескими воспоминаниями. Я пью у окна кофе и пишу о том, как крепкий настой вытесняет из головы миазмы прошлого. Через канал я вижу три окна на высокой терракотовой стене и вывеску „Дженерал консулат оф Грейт Дьючи оф Люксембург“. В одном из окон я вижу и самого генерального консула Великого Герцогства. Он почти всегда неподвижен. Быть может, он тоже пишет роман в Венеции? Во всяком случае, каждая минута шлепком глины ложится на массивную скульптуру его консульского производственного стажа.

Вчера ночью под нашими окнами одна за другой проплыли одиннадцать гондол, это получал оговоренную в проспекте дозу романтики американский чартерный круиз „Магнолия“. Гондольеры шестами и двусмысленными улыбками зарабатывали стаж. На последнем судне каравана гондольер пел серенаду через усилитель, так, чтобы до всех долетала.

— Уи фил грейт, абсолютли марвелоус! — пищали американки.

Сегодня я вижу из окна нечто новое: под аркой консульского дома появилась восковая скульпту-

ра, сделанная под „Портрет мальчика” Пинтуриккьо. Однако не слишком ли? Конечно, сделано неплохо — и длинные волосы, и цвет лица, и шапочка, и средневековая блуза, но... все-таки... восковые куклы для услады чартерных путешественников... Не слишком ли старуха Венеция обеспокоена своим производственным стажем?

Мимо прошла баржа с чемоданами из отеля „Эксцельсиор”, и волна захлестнула босую ступню. Восковая кукла поджала ноги и оказалась живым существом, одним из сотен тысяч европейских мальчишек, что шляются из страны в страну во время вакаций, как когда-то шлялся здесь юноша Пастернак.

Мудрейший книжник — лев с венецианского флага — лицом своим располагает к чтению, когтями же — к писанию. Вода течет и оmyвает плетни кирпичницы, чугун латыни, керамику арабской вязи и башни иероглифов. Бог даст всем пишущим довольно стажа для настоящих книг. Гуд бай!

*Колоссальные киловатты! Любопытно, как можно заснуть на электроламповом предприятии? Однако свечки потухли и зал храпит. Тем не менее путевка подписана. Штамп. Резолюция: к оплате 14 р. 75 к.*

## СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ С БАКЕНБАРДАМИ

Он покидал лазурные края и ехал напрямиком в прорву, в черноту с синевой, к надвигающемуся грозовому фронту. Между тем левый дворник, как раз особенно нужный, у него не работал: стерлись шлицы на штырьке и поводок вместе со щеткой падал на капот после первого же хода. „Весело мне сейчас будет, ох весело”, — думал Дуров и оглядывался иной раз назад, то есть смотрел в зеркало заднего вида. Над покинутым балтийским городом еще светилась голубизна, но становилась все ниже, все уже: то ли Дуров очень стремительно летел в черноту, то ли грозовой фронт надвигался с не меньшей стремительностью.

Жалкая, пришибленная природа по сторонам шоссе замерла в ожидании неминуемого наказания. Какие-то кочки, болото, что ли; тонкие деревца уже начали раскачиваться, уже упруго потянуло с юга жестоким хладом; все вымерло, округа опустошена трепетала перед экзекуцией.

Как раз в такой вот подходящий момент на шоссе вылез солдат с автоматом. Это был мальчик-акселерант, высоченный и худой, с маленькой головкой и развинченной — армия еще не обработала — поход-

кой. Он приказал жестом остановиться, приблизился не торопясь и сказал ломким голоском:

— Группа поиска. Откройте багажник.

— Что-что? — спросил Дуров. Он не понимал, между прочим, почему остановился, почему послушался первого же жеста этого мальчишки в обвисших штанах, но потом догадался — жест-то был произведен автоматом: не просто рукой, но стволом ему было приказано остановиться.

— Багажник, — лениво сказал солдат и стволом автомата показал на багажник.

Видно было, что ему нравится это делать — лениво ходить по дороге и показывать автоматом. Он как бы играл в мальчика с автоматом, хотя и в самом деле был мальчиком с автоматом.

Дуров разозлился, весь чуть-чуть задрожал от злости, вышел, открыл багажник и пригласил солдата — прошу, мол. Тот глянул через плечо в захламленный отсек автомобиля.

— Порядок. Закрывайте.

— А где у вас „здравствуйте”, „пожалуйста”, „извините”? — совсем разозлился Дуров. — В школе не проходили?

— А? — сказал солдат.

— Жуй два! — рявкнул Дуров.

Он сел за руль, хлопнул дверцей, резко отъехал, успев, правда, заметить в зеркальце заднего вида изумленную маленькую физиономию с открытым ртом.

Физиономия быстро стерлась, но мальчишеская фигура в линялом хаки еще некоторое время маячила в зеркальце, пока не пошел вдруг со всех сторон немислимой силы дождь. Так и казалось — лупит отовсюду! Гигантский, на полвселенной куб режущих капель и в центре куба беспомощный ослепший жучок — автомобиль Дурова. Он включил габ-

ритные огни, фары дальнего света и остановился, ехать было невозможно — не видно ни дороги, ни обочины. Только бы сзади не наехал на меня какой-нибудь бесноватый поливальщик. Как раз не хватает в этой прорве цистерны с пятью тоннами воды. Даже непрерывные разряды молний не освещали округи, но лишь ослепляли Дурова. Громы, как ни странно, успокаивали. В них слышалось Дурову что-то Божье, а значит, и человеческое, одушевленный звук среди бессмысленной стихии.

Что такое автомобиль? — в который уже раз спросил себя Дуров. — Зонтик от дождя. Странное убежище на дороге. Путник, если ты натолкнешься в этой свистопляске на мой автомобиль, входи смело. Человеческие существа ободряют друг друга среди разверзающейся неорганики. Отчаявшийся путник, помни, что биология, частью которой человечество имеет честь быть, хоть и мала, но все-таки не бессильна. Сопrotивляйся стихии, иди, ободренный громами, а встретишь в пути прибежище на колесах, входи, не стесняйся.

Путник не заставил себя ждать. Возникнув прямо возле машины в слепом ртутном пространстве, он деликатно сунулся в дверцу и спросил:

— Можно к вам?

— Должно! — весело крикнул Дуро. Мысли об одушевленности грома и гибкости биологии развешили его.

— Не понял, — сказал путник.

— Входите, дружище, без церемоний! — крикнул Дуров.

Путник влез внутрь, втащив за собой потоки воды. Он оказался милиционером, лейтенантом милиции, однако промокший до нитки лейтенант милиции как бы понижается в чине трудно сказать, на

сколько рангов, быть может, скатывается до положения простого дрожащего путника.

— Сейчас я вам дам кофе из термоса, — сказал Дуров. — Сейчас согреетесь.

— Вот это здорово, — бормотал молодой путник, глотая дымящийся кофе. — Вот это отлично. Вот это повезло.

— Может, хотите свитер? — спросил Дуров. — Снимите форму и в свитер влезайте.

— Это не положено, — улыбнулся офицер. — К сожалению, — добавил он. — Ничего, — снова улыбнулся он. — Я уже согрелся. Мы привычные. Скажите, вы тут автоматчика на дороге не встречали?

— Встречал. Он проверял у меня багажник за несколько секунд до грозы. Не знаю, что он там искал — животное, растение, предмет? Это ваш друг?

— Кто? — спросил лейтенант милиции.

— Автоматчик.

— Прикомандировали его ко мне. Салака по первому году службы.

— Вы, значит, группа поиска? — спросил Дуров.

— Это он вам сказал? — Лейтенант прищурился по отдаленному адресу, потом усмехнулся. — Вот деятель! Кто его просил в багажники заглядывать? Я по телефону пошел звонить на хутор, а он, значит, в багажники решил заглядывать...

— А что, и патроны у него есть? — поинтересовался Дуров.

— Полный комплект, — вздохнул лейтенант.

— М-да, — сказал Дуров.

— Это точно, — вздохнул лейтенант.

— Все-таки кого или что вы ищете? Секрет? — спросил Дуров.

— Фактически не секрет, — сказал лейтенант. — Всесоюзный розыск.

— Шпион? Бандит?

— Нет, не догадаетесь. — Лейтенант немного заважничал. — Фактически мы ищем отвратительного субъекта. Фальшивомонетчика.

— Бывают еще такие? — изумился Дуров. — Для меня фальшивомонетчик — это нечто, знаете ли, почти мифическое, нечто вроде кентавра.

— Да-да, — покивал лейтенант. — Бывают еще такие. Как вы думаете? Если бы не было, не искали б!

— И какие монеты у него? Рубли железные?

Мысль о присутствии в этой кипящей округе фальшивомонетчика почему-то восхитила Дурова. Представилось ему одинокое согбенное существо в каком-то темном балахоне с капюшоном, нечто вроде Слепого Пью из „Острова Сокровищ“, бредущее с мешком фальшивых рублей по враждебному пространству, где циркулируют нормальные деньги.

— Пятидесятирублевые банкноты, — с полной уже важностью сказал лейтенант. — Третьего дня в ювелирном магазине сбыл несколько бумаг. Вчера разменял в гастрономе на окраине одну. Вот сделали у нас в лаборатории словесный портрет. Гляньте, товарищ, не встречали такого?

Лейтенант расстегнул портфель — у него оказался школьный чухлый портфелишко, — полез было туда, но отстранился: в портфель потекла влага с лица и рук.

— Словесный портрет — это, значит, по рассказам? По рассказам очевидцев? Позвольте я достану — у меня руки сухие.

Лейтенант позволил, и Дуров извлек из портфельчика словесный портрет негодяя.

На мгновение у Дурова даже задрожала рука. Он и не предполагал в себе такие запасы любопытства. На него смотрело словесное лицо, лицо как лицо, похожее на любое человеческое лицо, в том числе и на его собственное. Из особых примет на лице име-

лось: два глаза, два уха, один нос, рот, что-то еще, в общем, то, что составляет особые приметы всякого человеческого лица. Единственное, что окрыляло это лицо, были пушистенькие бакенбарды, слегка напоминавшие Беккенбауэра, футболиста-миллионера из Западной Германии. Бакенбауэры Беккенбарда — недурственно получается, а?

— Ха-ха, — сказал Дуров. — Встречаю таких ежедневно десятками, если не сотнями. Передайте привет мастерам словесного портрета.

— Юмор понял, — сказал лейтенант. — Конечно, лицо без особых примет. Бачки, конечно, не примета.

— Даже я это знаю, — сказал Дуров.

Посмеиваясь, он вернул словесный портрет милиционеру. Тот тоже засмеялся, но вдруг осекся:

— А вы... — начал он фразу и снова осекся. — А вы... куда... — Новая осечка.

Дуров увидел, как меняется цвет его глаз, как жиденькая голубизна сменяется мутно-серой стынью.

— Да вы, дружище... — Дуров расхохотался. — Да вы, я вижу, меня стали подозревать!

— Нет... что вы... — Лейтенант смутился. — Только вот вы сказали „даже я"... А кто вы?

— Ха-ха, — сказал Дуров. — Теперь я под подозрением. Без бакенбардов, но с двумя глазами, с носом, со всем прочим. Знаете, дружище, я мог бы и рассердиться, но во имя этого металлического пузырька, выложенного изнутри хлорвинилом, соединившего нас с вами в этот грозный час, я не сержусь. Я Дуров Павел Аполлинарьевич.

— А точнее нельзя? — осторожно, не неумолимо спросил лейтенант.

— Можно-можно. Вот паспорт, вот удостоверение, вот, наконец, почетная грамота.

— Выходит, вы вроде артист? — Голубизна понемногу возвращалась в милицейские глаза. — А как-го вы фактически жанра?

Боги! Каков вопросец... Группа поиска смотрит в корень, в корень, висящий в воздухе, в сокровенную пустоту моей жизни...

— Какого фактически жанра? Я артист оригинального жанра.

— Понятно, товарищ артист, понятно. Не обижайтесь, такая служба. К тому же всесоюзный розыск.

Милейшая деревенская, на постном молоке разведенная синька теперь уже снова плескалась в глазах лейтенанта. Паспорт, а затем и удостоверение вернулись к Дурову. Почетная грамота чуть-чуть задержалась.

— „...за постановку спортивного праздника „День, звени!“...” Значит, это вы, Павел Аполлинарьевич, в нашем городе устраивали праздник?

— Я там мизансцены разводил, — скромно промямлил Дуров.

— Вот повезло! — воскликнул лейтенант.

— Кому повезло? — удивился Дуров.

— Мне. Буду рассказывать в подразделении, не поверят хлопцы.

— А вы, друг мой, значит, лейтенант милиции? — спросил Дуров. — Две звездочки вполне меня убеждают. Нет-нет, не нужно документов. И бакенбардов вы никогда не носили? Нет, умоляю, никаких документов. У вас своя профессия, у меня своя. Словесный портрет похож на любого человека, но люди моей профессии умеют отличать тех, кто не способен к изготовлению фальшивых дензнаков. Уж такие-то задачки для нас семечки! Уверяю вас. Посмотрите, дружище, радуга! Вот новое чудо — радуга на все небо. Знаете, мне стыдно признаться, но еще несколько времени назад я адресовал этому

свирепому дождю нелестные эпитеты — видите, и сейчас говорю „свирепый“... — мне казалось, что я выброшен в мир неживой равнодушной природы, но сейчас — посмотрите, как все преобразилось! Радуга через все небо! и малые радуги там и сям меж кустов! капли повсюду висят и блестят! пузыри валандаются в лужах! асфальт проясняется, дорога стремительно проявляется из тумана, будто кто-то трет пальцем переводную картинку! какие стволы черные! вот вам красота черного цвета! положите сюда любое — и любое засверкает, но мокрое черное среди зелени — всегда жизнь! — да-да, сейчас-то я понимаю, что и это неистовство было направлено к нам не просто так, но по адресу... быть может, как напоминание, но в конечном счете как ободрение... Ты согласен, офицер?

— Счастливого вам пути, — сказал лейтенант. — Вон мой Юрка появился. Значит, счастливо.

— Но вы согласны со мной? — настаивал на вопросе Дуров.

— Оптимистически с вами согласен.

Они пожали друг другу руки и расстались. Лейтенант быстро пошел по шоссе, разбрызгивая лужи и грозя пальцем автоматчику Юрке, который медленно, нога за ногу, приближался и разводил руками, жест, означавший что-то вроде „а-я-то-здесь-при-чем-без-меня-меня-женили“.

Дуров поехал дальше, глядя на волшебное завершение грозового процесса в небесах над большой территорией Европы. Музыки попросила его душа и тут же ее получила. В приемнике зазвучало что-то из Моцарта. Лиюющие скрипки. Дуров радовался сейчас неизвестно чему, то есть радовался чисто и истинно, но в то же время он как бы и побаивался своей истинной радости: как бы не дорадоваться до горя!

Такое ощущение было уже привилегией его возраста. Он знал это по собственному опыту, по хмельным откровениям товарищей, по литературе и кинематографу: ранние сороковые дают подобную неуверенность, страх перед полной радостью, вечную тревогу — не досмеяться бы до слез.

Что-то должно присутствовать в этом ликовании паршивое. Для устойчивости полная радость должна быть все-таки неполной, должна хоть с краешку замутнеться хоть крошечной дрянью. Он стал искать свое дрянцо и, конечно же, быстро нашел.

Во-первых, несколько жестких волос за воротником оставило все-таки это мимолетное подозрение, дурацкий словесный портрет с бакенбардами, предъявление документов, полусмешная, но все-таки настоящая идентификация личности. Пусть ерундовая, но все-таки паршивинка, и она все-таки утяжеляет, а значит, и укрепляет чудеснейшую радугу, волшебно зовущую в свои ворота сорокалетнего человека.

Во-вторых... что-то тут есть и во-вторых... да, конечно же, вот свернулась трубочкой на мокром изпод милиционера сиденье паршивенькая эта почетная грамота, удостоверение халтурщика. Да-да, эта штучка отличным кажется противовесом для послегрозowego ликования, и ликование еще подержится в пространстве, не соскользнет прежде времени в мутную маету.

Так он решал и вроде бы успокоился, но чем дальше ехал, тем чаще смотрел на паршивенькую трубочку и убедился наконец, что произошло незапланированное: трубочка перетянула. Ликование и моцартовские скрипки отправились в космические высоты, а сам он опустился в бухгалтерию стадиона, где получал пять колов за постановку спортивного праздника „День, звени!“. Пять колов, или

полкосой, то есть пять сотен дубов, короче говоря, пятьсот рублей.

Эту синекуру схлопотал ему старый приятель Т., один из тех пятнадцати, которых Дуров „считал”, не выделяя и самого себя из этого количества. Вдруг при случайной встрече, когда Дуров стал жаловаться на безденежье, оказалось, что есть возможность поохотиться, что старый кореш, блистательный Т., давно уже не чурается охоты на синих курочек по зеленым вольерам стадионов. „Три дня поорешь в матюкалку, раскидаешь гимнастов налево, акробаток направо и получаешь пять колов. Только, пожалуйста, выключайся, Пашуля. Только жанра не трогай”.

Блистательный Т. был жанристом экстра-класса и в те времена, когда публика нуждалась в колдовстве, и в те времена, когда зарастали народные тропы. Он сам себя уверял и Дурову сказал, что стадионные упражнения нисколько не влияют на его потенцию. Напротив, говорил он, постоянный и вполне основательный доход освобождает меня. Конечно, времени для размышлений меньше, но если уж мысли приходят, то не замутняются такой чепухой, как долги, концы с концами, паутина в холодильнике. Никому своего метода жить не навязываю, но рекомендую попробовать.

Дуров попробовал, и действительно все получилось непринужденно, необременительно и даже непротивно. Пятьсот рублей оказались у него в кармане, да и праздник, между прочим, удался, все были довольны: и публика, и спортсмены, и начальство, да и Дурову самому это понравилось, хотя он и сказал себе на прощанье с праздником: первый и последний раз.

Отчего же последний раз? Ведь вроде все прошло совсем безболезненно, и не потрачено было ни грам-

ма священного титана, никаких вообще „расщепляющихся” материалов. И все-таки первый и последний — так без всякого надрыва, с улыбкой подумал Дуров и забыл про „День, звени!”, но вот сейчас паршивенькая трубочка почетной грамоты, которую и сунули-то ему без всякой торжественности, второпях в той же бухгалтерии, вдруг стала перевешивать все огромное окружающее ликование. Она лежала на мокром сиденье уже основательно помятая, с загнутыми краешками, что-то вроде... ну конечно же, не напоминание о грехе, это будет слишком уж сильно, но и не индульгенция, что очевидно. Короче говоря, Дуров ехал теперь под сверкающими промытыми небесами в прочном и надежном плохом настроении.

На границе республики он подъехал к автозаправочной станции. Здесь было две колонки бензина АИ-93. У одной заправлялась черная „Волга”, к другой подрулил Дуров. Вслед за ним на станцию въехала суматошная бабенка на сиреневых „Жигулях” и сама в сиреновом мини.

— Мужчина, вы мне очередь не уступите? Так спешу!

Дуров посмотрел на нее. Здоровенная на голове начесана башня из обесцвеченных волос. Стало быть, южнорусский этикет в виде обращения „мужчина” уже проникает и в здешние срединные края, и, значит, он вправе назвать ее женщиной.

— Женщина, мне быстрее будет заправиться, чем вам место уступить.

Дуров налил себе уже бензину, как говорится, под завязочку, когда водительница вновь обратилась к нему:

— Молодой человек, не поможете? Пробка не отворачивается.

Теперь в связи с тугой пробкой он был повышен в чине, из „мужчины” превратился в „молодого человека”. Нужно ответить взаимностью:

— Все в порядке, девушка. Пожалуйста! — сказал он, отвинтив пробку.

Оценила! Аппетитно хихикнув, помахивая сумочкой, направилась к операторше платить за бензин, но обернулась пару раз — дескать, не будет ли вопросов?

Вопросов не было. Дуров стал отъезжать от колонки и тут заметил, что обе дамы на него смотрят — и операторша и сиреневая жигулистка. Операторша высунулась из своего окошечка, смотрела пристально и хмуро, заглядывала себе в ладошку и снова смотрела на Дурова, как бы сличала. Она что-то тихо и быстро говорила своей сиреновой клиентке, и у той стремительно менялось выражение лица — от безмятежности к панике.

Что это с бабами происходит? Женщины все чаще ведут себя странно. Даже самые заурядные тетки иной раз позволяют себе странные выходки. Последнее, что Дуров успел заметить, — телефонную трубку в руке операторши.

Он выехал на шоссе и через десять минут оказался в другой республике. Поездки по малым странам и республикам всегда его восхищали. Проскочить за сутки несколько стран — это ли не соблазн? Затемно выехать, скажем, из Бухареста, весь день качиваться на холмах Трансильвании, к вечеру миновать венгерскую границу, стремительно под молодой луной пересечь плоскость северо-восточной Венгрии, проскочить Мишкольц, въехать в спящую Чехословакию и по брюшку этой продолговатой страны пробраться к ее хребту, к Высоким Татрам, чтобы оттуда в присутствии все той же молодой луны скатиться в Польшу... Каков соблазн — за сутки

пересечь четыре древних европейских истории! Быть может, у жителя малой страны так же силен соблазн внедрения в бесконечность России, Бразилии или Канады и возможность сутки за сутками мотать на спидометр их непомерные пространства.

Однако какого черта эта операторша так на меня смотрела?

После крутого подъема взору открылась обширная влажная чистозеленая восточноевропейская местность с двумя-тремя городками в долине, с развалинами замка на низком холме, с двуглавым костелом на горизонте.

Дурова вдруг осенило: она сличала меня со словесным портретом!

Закрытый поворот и спуск. Тормозить двигателем! Слева под каштановым шатром старое католическое кладбище с полуразвалившимися ангелами скорби, впереди тихая темная река с остатками висячего моста. Поток встречных, ревуших на подъеме дизелей, увы, разрушает и романтику распада.

Да она же заподозрила во мне фальшивомонетчика!

Правая нога Дурова непроизвольно поджала педаль акселератора, как будто ему нужно убежать от подозрений. Скорость увеличилась почти до сотни, потом еще выше. Несколько мужиков, бредущих по обочине с лопатами и пневмомолотками на плечах, проводили стремительно несущийся „фиат” удивленными взглядами. Должно быть, здесь так быстро не ездят. Я не заметил в панике ограничительного знака. В какой там еще панике? Отчего мне паниковать? Что я — действительно фальшивомонетчик, что ли? Совсем я не паниковал, а просто не заметил ограничительного знака. Не заметил и увеличил скорость. Вот мужики дорожные и посмотрели поэтому с удивлением. Конечно, подозре-

ние значительно увеличилось вместе со скоростью. Операторша телефонила, должно быть предупреждала вперед по линии о подозрительном автомобиле. Теперь если кто-нибудь спросит этих работяг, они сразу же припомнят — точно, подрывал тут один подозрительный на синеньком фургоне. Номер, конечно, кто-нибудь заметил — или операторша сама или эти дорожники...

Дуров принужденно рассмеялся. Вздор какой-то! Я, кажется, начинаю и впрямь чувствовать себя в роли фальшивомонетчика. В самом деле — что за вздор? Ведь никогда в жизни я не изготовлял и не сбывал ненастоящих денег. Я абсолютно чист, и документы у меня в полном порядке. У меня никогда не было даже похожих идей. Даже в мальчишеские годы, когда черт знает что фантазируешь, я не помышлял себя фальшивомонетчиком. Да и вообще — вот удивительное открытие — я никогда не преступал закона! Какое приятное, в самом деле, открытие в условиях всесоюзного розыска! Конечно, и у того, кого ищут, у этого дурацкого фальшивомонетчика, должно быть, документы в порядке, но у него нет такого внутреннего спокойствия, как у меня. Он прохвост, а я честный человек. Я чист перед законом, я обыкновенный законопослушный человек, хотя и профессия у меня странноватая. Профессия, однако, вполне допустимая в рамках современной цивилизации и даже понятная любому человеку, если хорошенько объяснить. Во всяком случае, моя профессия совсем не повод для тревоги в зоне розысков преступника.

Так Дуров думал, успокаиваясь и слегка посмеиваясь над собой, и ехал уже спокойно, держась правил, фиксируя все знаки, и только лишь в населенных пунктах да перед постами ГАИ он произвольно как-то сжимался, концентрировался, как бы ста-

раясь всеми силами произвести впечатление нефальшивомонетчика.

Видимо, это получалось у него хорошо, и он без всяких помех пересек уголок очередной малой республики и въехал в следующую, огромную. Он приближался к крупному городу и спокойно уже мечтал об обеде, когда вдруг его прожгла отвратительная мысль: пятидесятирублевки! Боже, в кармане у него, в наружном кармане куртки лежало десять новеньких, как будто только вчера отпечатанных полусотенных бумаг! Да, вот именно, пятидесятирублевками заплатили ему в кассе стадиона. Он еще на миг восхитился тогда — какие новенькие и довольно большие бумажки! Восхитился, сунул их в карман и забыл. „Нет, непросто, непросто все это задумано в природе! Новенькие полусотенные в кармане, а вокруг ищут фальшивомонетчика с полусотенными... Не исключен хитроумный заговор природы против меня... Кажется, других-то денег просто никаких у меня нет, кажется, последние мятые рубли и монеты выложил на бензостанции...”

Дуров хотел остановиться, чтобы проверить карманы и все сусеки автомобиля, но тут новый подвох — знак „остановка запрещена”, а зона действия три тысячи метров.

Так под этим знаком Дуров и въехал в городскую черту, в сутолоку движения, на незнакомые улицы, где тоже почему-то долго не мог остановиться — то свет вдруг загорался зеленый, то фильтрующая стрелка возникала и сзади начинали гудеть, то вдруг появлялись милиция, ГАИ, дружинники, которые все почему-то смотрели на него.

Так он докатил до самого центра города, до памятника какому-то кавалеристу, который когда-то, в незапамятные времена, этот город прославил. Памятник стоял в середине бульвара, на обоих берегах

которого кишела довольно бойкая торговая жизнь. Далее, за бульваром, открывалось большое торжественное пространство площади, а на ней другие памятники, трибуналы и неизбежный для городов такого масштаба „вечный огонь”.

Дуров приткнул машину на торговом берегу бульвара и сразу же увидел тетку с пирожками. Расхваливать свой товар ей не приходилось: основательная очередь горожан ожидала блага из небольшого голубого ящика. Даже еще не видя пирожков, Дуров глотнул слюну, почувствовал едва ли не голодную спазму. Вот все-таки как проголодался, вот ведь все-таки как проголодался, — весело забормотал он себе под нос, вылезая из машины, становясь в очередь, небрежно шаря в карманах мелочь, небрежно, небрежно (совсем без всякой тревоги!) перекладывая из одного кармана в другой пачечку полусотенных, честно заработанных и полученных из государственного источника, и находя вот таким мимоходом в одном из глубоких кулуаров завалыщенький, свернувшийся, как дождевой червячок, рубль, — вот в самом деле как проголодался!

Пирожки кончились человек за семь до Дурова. Горожане тут же молча разошлись, а Дуров не нашел ничего лучше как спросить тетку:

— Где тут у вас можно поесть?

— Вы что?

Тетка считала выручку и на вопрошающего не посмотрела.

— Жрать хочу до смерти, — сказал Дуров.

Она подняла глаза:

— Ты что?

— Я интересуюсь... столовая какая-нибудь... закусочная... кафетерий?

— Да ты в своем уме?

— Не волнуйтесь, пожалуйста, не обижайтесь, любезная пирожница, но если уж у вас не завалялось для меня полдюжины пирожков, то я должен открыть вам свой маленький секрет — я немного не в своем уме, чуть-чуть того, слегка беспокоен от голода. Столовую ищу. Где?

Последнее слово он произнес очень громко и весьма близко к уху реципиента, то есть тетки с пирожками. Он полагал, что сейчас возникнет какой-нибудь скандал, он вызывал на себя этот опасный скандал, чреватый даже возможным разоблачением (разоблачение!), но не было сил терпеть мрачное и грубое величие продавщицы пирожков. Странное дело, годы шли, а Дуров все больше страдал от хамства. Казалось бы, привыкнуть уже вполне можно, но он не привыкал, ущемлялся, бесился.

Скандала, однако, после оглушительного вопроса не последовало. Тетка вдруг улыбнулась:

— А ты, парень, я вижу, и в самом деле кушать хочешь. Может, ты забыл, какой сегодня день недели?

— Да пятница, кажется, — пробормотал Дуров.

— Именно, значит, пятница, — торжественно сказала пирожница. — Кто ж тебя по пятницам в столовую пустит, если не приглашенный?

— Простите, не понял, но рад уже, что вы сменили хмурое и столь неподобающее вашему ремеслу величие на...

Дуров не успел закончить велеречивой фразы, одной из тех, что он обычно пускал в ход для того, чтобы выделиться из тусклой массы тех, „которых много”, перед избранницами судьбы — продавщицами, официантками, билетершами. Запели фанфары. Над городом распространились серебряные звуки. В просвете бульвара, в торжественном асфальтовом половодье главной площади появился медлитель-

ный клин мотоциклистов в белых шлемах и белых крагах. За ними катил открытый „ЗИС-110” и в нем пучок фанфаристов, поворачивавшихся разом то туда, то сюда и оглашавших городские окрестности звуками радости и скромного величия. Засим покатали „Чайки” и „Волги” с укрепленными на крышах металлическими пересекающимися окружностями. Вся эта процессия огибала систему памятников. У Дурова произошел прилив крови к голове — в последнее время такое с ним случалось перед лицом загадочных, безнадежно непонятных явлений. И не столь поразили его маленькие розовые детские фигурки, привязанные, словно жертвоприношения, к хромированным пастям автомобилей, сколь скрещенные металлические окружности на крышах автомобилей, что просто изумило его. Показалось даже — уж не радары ли, уж не по его ли, дуровскую, душу? И вдруг осенило! Как будто с ближайшего облачка пропели фанфары в самое ухо — обручальные кольца!

Да ведь свадьба же! Все сразу стало ясно, чудесно, немного смешно и мило: конец недели, апофеоз, звенящая серебром ассамблея Дворца бракосочетаний, все городские столовые арендованы под тур свадеб — таковы традиции этого города и, конечно, удивительно, что проезжий фальшивомонетчик этого не знает.

Известно, что голод вдохновляет, и Павел Дуров вдруг почувствовал молодое вдохновение. Он зашагал бодро вслед за свадебными звуками и на углу упруго остановился, подхваченный порывом ветра, с удовольствием ощущая, как полетели у него под ветром волосы. Пирожница удивленно смотрела ему вслед. Она давно уже привыкла не замечать людей, алчущих пирога, то есть бóльшую часть человечества, но вид персоны, охваченной мгновенным

вихрем голодного вдохновения, несказанно поразила ее и приковал внимание. „Ишь ты” — так думала она, глядя вслед Дурову.

— Чудесных благ тебе, милейшая пирожница! — донеслось с угла, где стоял малопонятный человек.

Ахнула — догадалась!

Дуров видел, как метнулась тетка к двум парням с красными повязками, как выбросила она обе руки в его направлении.

— ...и не по-нашему говорит! — донеслось до Дурова, и он тогда спокойно и легко, пружиня на ветру, начал пересекать бульвар, иногда оглядываясь на дружинников, устремившихся в погоню.

Любопытная получалась картина, странная диспропорция движений. Дуров медленно пересекал бульвар, а дружинники бежали за ним словно спринтеры, но достать не могли. Чудесная забавная ситуация — ты идешь не торопясь, руки в карманах, а тебя преследуют, несутся, обливаются потом, догнать же не могут. Мило. Эксперимент не из легких, но в то же время ничего чрезвычайного — в жизни так случается.

— Да подожди ты, старик, давай поговорим! — взмолились дружинники. — Хочешь — по-русски, хочешь — по-английски.

— Почему же по-английски? — удивился Дуров.

— Да мы из „Интуриста”, умеем по-разному. Дай догнать себя, старичок! Остановись!

Дуров остановился. Дружинники приблизились, но все-таки не смогли его взять. Он стоял, а они бежали рядом, уже задыхаясь и хватаясь за бока, но взять его не могли. Два здоровенных парня в плоских кепках, синих шляпах, резиновых купальных шапочках, один кучерявый, другой с большими залысинами, по виду тяжеловесы дзюдо, но уже потевшие форму из-за усиленного питания.

— Да что же это такое? — почти с отчаянием восклицали они. — Почему мы тебя взять не можем?

— Потому что я не фальшивомонетчик, — просто ответил Дуров.

— Уверен? — крикнули они. — А со словесным портретом совпадаешь!

— Не более, чем вы, — сказал Дуров. — Не более, чем каждый из вас.

— Ладно, парень, иди куда хочешь. Иди-иди! Только не стой на месте, а то люди смотрят и глазам не верят. Двигайтесь, гражданин, не обижайте дружку!

— Я на свадьбу иду, — сказал Дуров. — Очень хочется пообедать.

— Законно, — кивнули дружинники. — Иди в „Лукоморье“. Мы там тебя возьмем. Там свадьба сегодня швейного комбината. Там ты пообедаешь, а после потолкуем. Лады?

Дуров кивнул и направился к вечернему кафе „Лукоморье“, где уже вовсю, без всяких там увертюр гуляла свадьба швейников. Никто, конечно, не намерен был туда его пускать, но тем не менее он прошел — то ли охрана в дверях уловила знаки двух преследующих его дружинников, то ли вновь подействовало неожиданно слетевшее к нему вдохновение. Так или иначе, но он оказался внутри и даже нашелся для него стул за огромным П-образным столом, нашлись и стул и салфетка, тарелка и рюмка, жидкость ркацители и блюдо отварного языка с хреном.

Он скромно, но напористо ел, и в унисон подключался к тостам, и вместе со всеми присутствующими славил невесту-многостаночницу Лилю, и жениха — слесаря-наладчика Олега, и родителей, и руководство комбината, и товарищей, и шефов — артистов местного театра оперетты, из которых один, а точнее одна, амплуа Сильвы Вареску, смотрела на него

через три секции стола большими романтическими глазами.

Между тем дружинники, два дзюдоиста, которым места почему-то не нашлось, циркулировали от дверей к перекладине стола и тихо предупреждали руководство свадьбы о возможности изъятия опасного незнакомца.

Вскоре вся свадьба была, что называется, в курсе, все теперь смотрели на Дурова, по рукам осторожно гулял „словесный портрет”. Последней была просвещена романтическая Сильва. Она ахнула круглым ротиком и тут же подняла подбородок, показывая этим жестом, что если ее поняли, то поняли неверно, что незнакомец отнюдь не „герой ее романа”. Тяжело проползло по скатертям старинное суеверие: дурная примета — фальшивомонетчик на свадьбе...

— Да я, друзья мои, вовсе не фальшивомонетчик, — сказал тогда громко Дуров. — Прошу вас, веселитесь спокойно!

Свадьба, иными словами коллектив человек триста, молча смотрела на него. Дзюдоисты снова подходили. Один из них нес Дурову целиком зажаренного индюка, второй, приближаясь, делал успокаивающие жесты — дескать, ешь, не волнуйся, насыщайся без всякой паники. Быть может, инстинктивно оба охотника чувствовали, что насытившийся, отяжелевший Дуров станет для них легкой добычей. Смешно. Наивным ребятам было не понять, что Дуров в этот вечер был практически неуязвим. Должно быть, они еще ни разу не сталкивались с людьми нашего жанра, — печально думал Дуров, глядя, как на глазах у всей почтеннейшей публики жареный индюк начинает прорастать удивительными цветами и превращаться в красивую, но несъедобную клумбу. — Они еще не сталкивались с нами. Они

не знают, что если на нас „находит”, то долго не пропадает. Жалко ребят, но им не объяснишь, как тщетны их потуги... Печально другое, — продолжал думать артист старинного жанра, обводя глазами весь зал и напряженные лица людей, которым он испортил свадьбу. — Печально то, что с каждым новым моим трюком, с каждым очередным фонтанчиком жанра эти люди все меньше будут верить мне. Главным чудом было бы убедить их в том, что я честный человек, что я полностью, на все сто процентов не фальшивомонетчик, но до таких чудес я еще не дорос, да, может быть, и никто не дорос из нашего цеха. Дорастем ли когда-нибудь? Быть может, мы шли когда-то по верной тропе, когда лунные цветы „хаси” дрожали на наших одеждах, но потом потеряли дорогу, рассеялись и пропали во мраке.

— Друзья мои, поверьте... я знаю, как это трудно, но попробуйте поверить, что я не фальшивомонетчик... — заплетающимся языком заговорил Дуров. — Взгляните на словесный портрет... Ведь я похож на него только числом парных и непарных органов... Я знаю, конечно, что бакенбарды не примета, но, поверьте, я никогда не носил таких больших и пушистых...

— При чем здесь бакенбарды? — послышался резкий голос. Он шел из самой сердцевины свадьбы и принадлежал невесте. — Что вы там бормочете, товарищ? Ешьте спокойно, все вам верят. Правильно, Олег?

Говорят, что супруги становятся похожи друг на друга после долгой общей жизни. Два лица в глубине свадьбы были неотличимы уже сейчас — узкие молодые лица с прохладными серыми глазами. Среди сотен лиц, повернутых к Дурову, теперь он видел лишь эти два, особенно сильно освещенных чем-то.

— Порядок, — сказал жених. — Мы верим, что вы не фальшивомонетчик. Добро пожаловать. Здесь все вам верят.

Две одинаковые белозубые улыбки вспыхнули в глубине. Ошеломленный Дуров не нашел ничего лучше как вынуть из кармана и развернуть веером десять новеньких полусотенных бумаг.

— Внимание! — гулко сказал в микрофон председатель свадьбы.

— Вот единственная веская улика против меня, — сказал Дуров. — Десять новеньких полусотенных банкнотов. У фальшивомонетчика точно такие же, но я прошу вас верить мне, что эти настоящие и получены мной честно.

— Кто же вам не верит? — сказали многостаночница Лиля и слесарь-наладчик Олег. — Все верят.

— Конечно, конечно, — заговорила вокруг Дурова вся свадьба. — Сразу видно, что бумаги настоящие! Настоящие великолепные деньги! И товарищ этот вполне честный, это же видно было сразу, что товарищ, который кушал отварной язык, именно с незапятнанной репутацией.

Дуров покачивался, вытирая рукавом лицо, потрясенный свершившимся чудом. Триста пар глаз смотрели на него, излучая дивный фантастический свет ни на чем не основанного доверия. Дзюдоисты-дружинники издали приветствовали его руками, сцепленными над головой. Сильва протягивала ему бокал шампанского.

— К вам претензия, товарищ нефальшивомонетчик, — гулко сказал председатель. — По вашей вине свадьба буксует. В принципе еще никто не захмелся.

Чудеснейший смех, восхитительный добрый хохот поразил видавшего виды незадачливого колдуна. Он поднял руку выше и позволил своим чест-

ным деньгам утиным клинышком перелететь через зал и лечь на скатерть перед молодоженами.

— Извините, это мой свадебный подарок, — сказал Дуров. — Извините, я глубоко потрясен и должен побыть в одиночестве. Я поздравляю молодых и весь комбинат и удаляюсь в сокровенную тишину нашей земной ночи.

С этими словами он вышел из-за стола, прошел через зал, пожал руки дзюдоистам, толкнул стеклянную дверь „Лукоморья” и исчез.

— Что будете с подарком делать, ребята? — спросил председатель свадьбы.

-- Холодильник купим, — тут же сказал Олег. — Финский.

-- А может быть, и цветной телевизор, — высказалась Лиля. — Если, конечно, местком немного добавит.

— В чем не сомневаюсь, — сказал председатель в микрофон.

— Между прочим, когда этот товарищ вошел, — задумчиво проговорил мастер цеха раскройных машин Гурьяныч, — как только он вошел, я сразу подумал, что честный человек, не фальшивомонетчик, но потом, к сожалению, подозрения усилились.

— А я вот наоборот, — призналась бухгалтер Сонникова. — Я сразу подумала, что гад, что фальшивые деньги печатает, а вот как Лилечка сказала, так я и раскаялась — хорошего человека не разглядела. Спасибо тебе, Лилечка. Спасибо и вам, Олег.

— Спасибо, спасибо, — доносилось со всех сторон.

— Шампанское в бокалах! — гулко объявил председатель.

Все встали и выпили, и каждому этот бокал показался особенным: теплое переслащенное пойло преподнесло всем присутствующим облачко знобящего и сверхвысокого восторга. Потом свадьба вошла

в свою колею и покатилаь установленным порядком с тостами, танцами и даже легкими безобразиями, которые, впрочем, легко пресекались представителями народной дружины.

Дуров тем временем на малой скорости пересекал ночную индустриально-аграрную равнину. Три лесные полосы одна гуще другой угадывались в темноте. Они уходили волнами, большими темными накатами к горизонту, желая, видимо, слиться с ним в этой безлунной ночи, но не сливались, ибо за горизонтом присутствовал химический завод, который отчетливо выделял лесные профили своим розоватым с желтизной сиянием. С другой стороны шоссе было темнее, но и там на разных глубинах светились полоски окон модернизированных инкубаторов. В небе под северным ветром летели нервно растрепанные белесые тучки, за ними величаво, или, говоря нынешним языком, стабильно, стоял небесный свод с его звездной перфорацией, сквозь которую уверенно в различных направлениях пробирались метеоспутники. Благоговейно Дуров внимал всем звукам ночи. Обычную эту нелепую ночь своего века вбирал он сейчас в себя с благоговением. Все стекла в машине были опущены для беспрепятственного проникновения ночи. Дуров старался запомнить, вобрать в себя все блики и запахи ночи — запахи мокрой листвы и полихромдифенилметатоксина, вековечной болотной гнили и мазута. Как неожиданно пришла эта ночь свершившегося чуда! Ни грома, ни молний, ни световых, ни звуковых эффектов не понадобилось. Чего же стоили эти долгие годы работы, те „блистательные достижения“, которыми восхищались немногие сохранившиеся знатоки? Чудо массового доверия, раскрывая единая душа трехсотголовой свадьбы... чудо

пришло ко мне будто со стороны... и неужели я поймал пропавший жанр?.. поверят ли друзья?.. смогу ли сохранить летучую искру?

Слева недалеко от шоссе открылись обрывы, похожие на белые утесы Дувра, — известковый карьер. Там работала ночная смена, освещенный, будто корабль, огромный экскаватор и несколько сверхмощных „БелАЗов”. За карьером сразу подступал к шоссе лес, рассеченный просекой высоковольтной передачи. Конструкции мачт одна за другой уходили в темноту, словно череда триумфальных арок, воздвигнутых для неведомых еще торжеств. У подножия одной из опор трепетал маленький костерок, и рядом угадывалась человеческая фигурка. Дуров понял, что ему нужно туда. Он понял вдруг, что именно для этой встречи сорвался он из блаженного „Лукоморья”, со свадьбы швейников, где только что произошло одно из долгожданных чудес жанра.

Он хотел было оставить машину на обочине, но увидел в свете фар вполне подходящий спуск и осторожно стал съезжать в высоковольтную просеку. Человек, сидящий у костра, кажется, заметил огни приближающейся машины, но навстречу не встал. Дуров проехал немного по твердому грунту до кустарника, возле которого обнаружил спящий фургон-„фиат”, почти такой же, как и его собственный, быть может несколько иной окраски. Он оставил свою машину и дальше пошел пешком.

Человек у костра смотрел на подходящего Дурова, но не прерывал своего дела. Он брился. Медленно длинным тоненьким лезвием старомодной бритвы он не без удовольствия снимал со своего лица пушистые бакенбарды. Костер освещал его лицо и как бы вздувал его. Лица, освещенные снизу красным огнем костра, всегда кажутся вроде бы вздутыми, слегка преувеличенными. Все будто вздуто —

щеки, нос, надбровные дуги. Тем не менее Дуров немедленно узнал Сашу, одного из их бродячего цеха.

Когда-то, лет десять, а то и двенадцать назад, они дружили, были почти неразлучны, своего рода тандем, Саша и Паша, Сапаша, как иной раз называли их девушки и приближенные. Так было в зените успеха, когда весь жанр вдруг ожил и древние традиции грубоватого площадного колдовства вдруг поразили мир словно какое-то откровение, будто послание инопланетян. Быть может, и следовало держаться традиций, смирить гордыню, не искать сомнительных секретов, не стремиться улучшить жанр, не рисковать — быть может, не потеряли бы. Они не смирили гордыню и терпели крах за крахом, рассеивались и пропадали в неизвестности. Где был ты, Саша, эти десять лет? А где ты, Паша, пропал эти двенадцать?

Дуров сел к костру и прикурил от уголька.

— Привет, Пашка, — сказал друг.

— Привет, Сашка, — сказал друг.

Рядом с костром, словно третий собеседник, сидел или лежал, или стоял туго набитый кожаный мешок с веревочными завязками. Дуров потянул веревку и запустил в мешок руку.

— Зачем тебе это надо было, Сашка? — не удержался он от укора. — Боже мой, глупость какая!

Он вытащил из мешка пригоршню пятидесятирублевых и швырнул их в костер. Деньги затрещали, словно олады на сковородке, и тут же исчезли.

— Я отчаялся, — ровно, без эмоций сказал Саша.

— Как глупо, Сашка, как обидно... ты помнишь тот карнавал на Ай-Петри, что мы устроили вдвоем?.. И теперь фальшивые деньги... словесный портрет... бакенбарды... какая ерунда... — Дуров страдал от горечи, явственной как изжога.

— А ты разве не отчаялся, Пашка? — с каким-то подобием светского прохладного любопытства осведомился Саша. Он сбрил уже один бакенбард, но второй, пушистый и пронизанный красным светом костра, сидел на его щеке словно шлепок сахарной ваты.

— Представь себе — нет! — запальчиво воскликнул Дуров. — Тысячу раз был близок к отчаянию и тысячу раз выплывал! А сегодня, Сашка, мне показалось, знаешь ли, мне показалось...

И он стал рассказывать старому другу весь этот рассказ сначала.

...Свадьба швейников в кафе „Лукоморье“ между тем перевалила свой пик и в дымном грохоте биг-бита покатилась к финалу. В какой-то момент все забыли о молодоженах, и они остались вдвоем. Пальцы их соединились под скатертью, и Лиля прижала свою длинную ногу к ноге Олега.

— Знаешь, Лилька... — слегка задыхаясь, заговорил Олег, — конечно, мы с самого начала у всех на виду... и большое спасибо комбинату за товарищескую заботу... но знаешь, Лилька, я хочу тебе сказать, что с ума по тебе схожу, что мне всякий раз отлепиться от тебя сущая мука...

У Лили сильно кружилась голова.

— А для меня, Олег, ничего уже нет в мире, кроме тебя, кроме всего твоего тела. Ты истинная половина моя, а не так, как говорят...

Недели три уже назад эти молодые люди начали любить друг друга, вступили в полосу чудес, но впервые вот так друг другу высказались.

...Саша начал непринужденно, улыбочиво, в прежней своей легчайшей манере слегка колдовать. Он встал, поднял кожаный мешок и порциями стал вы-

тряхивать в костер фальшивые деньги. Всякий раз костер вспыхивал ярче, и в восходящих токах раскаленного воздуха возникал „словесный портрет с бакенбардами”, тот самый, распространенный в зоне розыска, правда, чуть измененный грустноватой улыбкой. Очень быстро все деньги сгорели. Потом Саша поднял руку, и сверху, с ночного неба слетели в костер одна за другой еще десять бумажек.

— Это те, что я сегодня разменял в торговом центре „Приволье”, — пояснил он Дурову. — Изымаются из обращения. Настоящие деньги возвращены в кассу. Скажи, достоин я снисхождения?

#### СЦЕНА. НОМЕР ШЕСТОЙ: „БЕГЛЕЦ”

*Выезжая из автомойки и отряхиваясь, Дуров на-  
талкивается на старых друзей-музыкантов, с кото-  
рыми вместе когда-то, на заре туманной, глотал  
шпаги и вынимал из уха голубей. Вот встреча! Что  
ж, тряхнем стариной? А что ж? Ну вот хотя бы смо-  
жешь ли выдуть мыльный пузырь и там, внутри,  
Дон Жуана? Почему же не попробовать? Многие за-  
висит от аккомпанемента. Давайте попробуем.  
Марш в домовую контору! И вот мы в домовой  
конторе.*

...Ненастным, но сухим утром он покинул свою любовь, пока она спала, и вышел на улицы города прямой, с изжеванным лицом под старомодной шляпой, в узком черном пальто, в галошах, с длинным английским зонтом.

Дон Жуан, убегающий от любви, в наши дни не диво. Уехать куда-нибудь сейчас не проблема. Компьютерная система распределяет билеты. Беглец, словно командированный, словно деловой че-

ловец, не вызывая подозрений, проходит анфиладами вокзала. Бегство — древняя страсть. Беглец — человек древности, и потому его озадачивает сочащееся сквозь стены освещение и прокатывающиеся над головой огненные цифры.

Прощальный миг. Сплошная полоса тяжелой зелени. Последнее мгновение. Он позабыл любовь, крапивную рубашку, что жгла его сто лет. Растенья и селенья мелькают за окном. Сто лет с горящей кожей чего-то стоят. До исчезновения любви крапивной он предполагал, что жжет его глагол, страдал с благоговеньем: вот сила, дескать, обжигающая власть глагола, человеческого арта. Совокупленье творческих начал — биомеханика? Он взялся позабыть прикосновенья крапивного холста, ожоги, пузыри на коже, сладчайшие сползания с крестца, неожиданные поползновенья спасти, прижать к осиротевшей без боли груди хотя бы память, знак, хотя бы дуновение с тех берегов, где некогда он целовал ее.

Где целовал свою любовь сбежавший Дон Жуан? На бетонном волноломе, в сельском доме приезжих, в номере люкс на ковре, в каюте парохода, в железнодорожном купе, на песчаном пляже, на гальке, на занозистых досках, на арендованных вонючих пуховиках, в веселых травах, перед экраном телевизора, за экраном телевизора, в подъездах, в палатках, под дождем, на снежном склоне, в очередях, на балконах...

Он стал хватать воздух ртом. Сбились две скорости: экспресс ровно и мощно несся вперед, воспоминания налетали и ураганами, воющими порывами швыряли назад. Могло бы кончиться трагикомично, если бы не внезапная остановка: кто-то повесил авоську с апельсинами на стоп-кран.

Дон Жуан осторожно глянул в окно и увидел свою любовь за полотном, на лужайке. Она лениво

курила, валяясь, нога на ногу, на берегу маленького пруда или, если угодно, большой лужи. Многозначительный ветерок чуть морщил водную поверхность. Над лужайкой летало облако. В нем отражалась лужа. Луженая глотка пела за лесом соло паяца.

Однако я никогда не целовал ее вот так, за полотном, на лужайке, у лужи и чтобы луженая глотка пела за лесом. Строго покашливая, он стал пробираться к выходу. Бегство обернулось новой встречей. Стотысячное бегство Дон Жуана.

*В целом удалось, сказал начальник ДК ЖСК „Розы Гименей”. Образ Дон Жуана, в общем, выдувается. Однако...*

*Тут прибежали: прорыв горячей воды в шестой секции!*

## ДОЛИНА

В последнее время что-то странное происходит с моим внешним видом: иным я кажусь основательно пожилым гражданинчиком, другим — неосновательно молодым, „парнем”. И то и другое слегка коробит. Основательная поживолатость огорчает, неосновательная моложавость кажется постыдной. Вот недавно какие-то сельские девушки обратились ко мне на дороге „вы, дядечка” — фу, какая неприятность! — а спустя некоторое время юнец-хиппи говорил мне „ты, чувак” — тоже что-то паршивое.

О последнем, между прочим, стоит немного рассказать. У нас, конечно, хиппи не так сильно произрастают, как в Америке, но имеются, и даже больше, чем предполагают люди, не путешествующие по автомобильным дорогам, словом, больше, чем хотелось бы.

...Юный Аркадиус кушал из пакета молоко пониженной жирности, когда на шоссе появились синие „Жигули”, а за рулем чувак в желтой майке, то есть я. Аркадиус двумя руками сдавил пакет и, пузырясь молоком, выскочил на обочину. Я, конечно же (мало было дураку науки), тут же остановился, и хиппи влез ко мне, прыщеватый, сальноволосый,

с симпатичной придурковатой улыбочкой, в жилетке из плохо обработанной овчины и с надписью на майке „A human being” („Человеческое существо”).

— Предупреждаю, денег нет, — сказал он мне.

— Бесплатный транспорт, — ответил я.

— Супер! — воскликнул он.

Мы поехали.

— Откуда едешь, чувак?

Вот это меня и покорило — что за нахальство, право! Я надел на нос дымчатые очки и посмотрел на попутчика.

— Ты знаешь происхождение слова „чувак”?

— Ну! Ты! Мэн! — воскликнул он с удивлением. — Ты, я гляжу, задаешь вопросы!

— „Чувак” то же самое, что и „мэн”, а также соответствует надписи на твоей груди, — академическим тоном пояснил я.

— А что означает эта надпись? — Он рот открыл.

— Она означает „чувак”, — усмехнулся я. — А происходит это слово от обыкновенного „человек”. Когда несколько часов подряд дуешь в трубу или в саксофон, язык во рту распухает и нет сил выговорить обыкновенное „человек”, а получается „чэ-э-эк”, „чвээк” и в конце концов „чувак”.

— Супер! — с детским восхищением воскликнул он. — Ты где учишься?

Настала моя очередь изумиться:

— Учусь? Да я, дружище, давно уже отучился. Ты, должно быть, заблуждаешься насчет моего возраста.

— А сколько тебе лет?

— Сорок, — сказал я, слегка все-таки слухавив в сторону улучшения, то есть уменьшения горестного числа.

— Супер! — снова вскричал он и вдруг осекся. — Как же это может быть? Отцу моему вон сорок...

— А что из этого следует, сынок? — ласково спросил я.

— Супер... — тихо пробормотал он.

После этого со спокойной уже душой я начал его расспрашивать. Мне приходилось раньше возить хиппи и на родине и за границей, и обычно это был народ молчаливый, отчужденный, малопривытный в общении. Юный Аркадиус оказался иным. Он охотно рассказывал о себе. Школу бросил — надоела. В армию не взяли — плоскостопие. Захиповал, ушел в „коммуну” и там надоело, потому что бездуховный факк и паршивое ширево. Теперь стал авто-stopщиком, наколесил уже тридцать тысяч километров по Союзу то один, то с братом, то с девочкой какой-нибудь. Сейчас едет в Москву посмотреть на Джоконду. Ее, Мону Лизу — вы, конечно, знаете, чувак? — везут домой, в Париж, из Японии, но по дороге она сделала стоп в нашей capitoлии, чтобы, значит, встретиться с Аркадиусом.

До Москвы было не менее двух тысяч километров, и я поинтересовался, есть ли у малыша деньги. Оказалось, есть, целая пятерка! Правда, нужно еще заехать за одной гёрлой, с ней скучковаться, но у нее, кажется, тоже есть рубля три, так что доберемся. Им много денег не надо. Хлеб они берут бесплатно в столовых. Водители в основном народ добрый, а жлобов за версту видно, к ним не просят. В случае крайней нужды Аркадиус продает стихи по копейке за строчку. Чьи стихи? Свои собственные. Хотите купить? Вот, пожалуйста:

Я разобью театрик без ramпы и кулис,  
Входите без билетов — приехал к вам артист!  
Расскажет вам историю  
Про шхуну из надежд,  
Которую построили

Четырнадцать невежд.  
Корабль из речки меленькой  
Отчалил в океан,  
Четырнадцать бездельников  
И капитан Иван...  
На деревенской улице театр без стен и крыш,  
Артист играет весело, а получает шиш.

— Я тебе, Аркадиус, за эти стихи дам десятку.

— Не десятку, а двенадцать надо, — надулся хиппи.

— Двенадцать не дам, а десятку получишь.

— Почему же десять, мэн? Двенадцать строк — двенадцать копеек.

— А я тебе десять рублей даю, понял? Не копеек, а рублей — дошло? Плачу тебе как начинающему поэту по девяносто копеек за строчку и вычитаю во семьдесят копеек, твой первый налог. Получается круглая десяточка. Вот, держи! Стихи-то давай!

Я получил стихи, записанные на разорванной обертке сигарет „Памир”. Аркадиус был потрясен хрустящей розовой бумажкой. Он сказал, что таких денег и в руках-то никогда не держал. Потом он что-то забормотал, кажется прикидывал, не сможет ли теперь, когда судьба так резко повернулась, взять с собой на Джоконду не только Эмку, но еще и другую гёрлу, Галку, а может, и бразеру позвонить, и тогда?.. Потом глаза его вспыхнули ярко, будто солнце попало в хрусталики, и он надменно протянул мне бумажку обратно — дескать, унижить его не удастся, а если хочешь помочь, то гони двенадцать копеек, а паршивые колы забирай. Я с трудом убедил его, что никакого унижения нет и что стихи его мне просто-напросто очень нужны.

— Для чего же они вам?

— Для того чтобы где-нибудь в горной деревне разбить театрик без кулис, без стен, без рампы и без

крыш, чтобы играть там и вспоминать про четырнадцать бездельников и в конце концов попытаться понять, что из этого получится. Видишь ли, Аркадиус, тебя судьба мне послала с твоим глупым стишком. Как ни странно, ты определил теперь мое направление, и я теперь понял, куда еду.

— Куда же, мэн?

— В горы.

— Да у меня там про горы нет ни слова. Наоборот, море.

— И все-таки я еду в горы!

— Зачем это вам, товарищ? Кто ты вообще такой, между прочим, мэн? — Аркадиус теперь вполне не принужденно перепрыгивал с „ты” на „вы” и обратно.

— Я артист-шарлатан, деревенский клоун.

— Супер! — вскричал он. — Возьмите меня с собой!

— Тебя ждет Мона Лиза, старик. Невежливо обманывать даму.

Расстались мы дружески. Он бодро закосолапил в развешивающихся на ветру широченных джинсах искать свою гёрлу, пообещав все-таки меня еще где-нибудь встретить хотя бы уж для того, чтобы другую стихозу толкнуть по хорошему тарифу.

Странное дело, я действительно переменял направление и поехал в горную страну. На деревенской улице театр без стен и крыш, без стен и крыш, без стен и крыш... Я повторял придурковатые строчки и видел почему-то горбатую улицу горного села, дикий вздыбленный горизонт, дома с плоскими крышами и нескольких зрителей в косматых шапках, каких, быть может, сейчас уже нигде и не найдешь, таких людей, которые в связи с незнанием языка и высокогорной терпимостью не будут вдаваться в подробности, задавать наводящие вопросы, выяснять первопричины, первоистоки и позво-

лят наконец-то провести задуманный акт до конца и сотворить чудо.

Четырнадцать бездельников и капитан Иван... Какое странное совпадение чисел! Четырнадцать бездельников и капитан Иван — всего, значит, пятнадцать. Как раз столько нас и осталось. Боже! Меня вдруг бросило в жар — да ведь есть же и Иван среди нас! Вернее, был среди нас Иван, неизвестно, существует ли до сей поры. Он когда-то долго блуждал по дальневосточным морям и прикидывался капитаном. Были времена, когда мы еще поддерживали друг с другом связь, когда еще витала над континентами идея собраться всем вместе и попробовать что-то сделать сообща. Иван никогда не был нашим капитаном, он был просто-напросто „капитан” — так мы называли его, посмеиваясь. Среди нас не было капитанов, мы все друг друга считали ровней в те времена, вначале. Как давно мы уже потерялись на земле! Иногда я ловлю себя на том, что мне не особенно и приятно-то вспоминать о товарищах, о товариществе. Иногда, когда судьба вдруг посылает какие-то знаки, я тоскую по ним и мечтаю о встрече, правда весьма отвлеченно. В этом случае, конечно, имя Иван и числа  $14 + 1$  были знаками судьбы.

Я повернул к югу, проехал сотни две километров по отвратительной разбитой и узкой дороге, выбрался на хорошее столбовое шоссе, протянул по нему еще километров триста, прежде чем приткнуться на ночлег к кемпингу, и пока тянул, все думал о Долине. Обычно я еду, участвуя во всем, что происходит на дороге, стараясь разглядеть и встречных, и попутных, и пейзаж по обе стороны, сейчас я отсутствовал, потому что думал о Долине. И в кемпинге „Садко” я не прислушивался к звукам за фанерной стенкой, потому что думал о Долине. Так

вот все это соединилось, все, о чем я размышлял в последние месяцы, все странные встречи во время моих блужданий, все импульсы и последний в виде стихоплетства прыщавого юнца — все почему-то сплелось для меня в слове „Долина”.

Теперь пришло мне время искать Долину, шептал я, и слышалась мне в этом слове неведомая благодать. Я закрывал глаза и видел ее, Долину, будто на экране, будто проекцию отличнейшей цветной пленки. Она медленно проплывала передо мной, горная благоухающая Долина с быстрой речкой внизу, с тихим поселком вдоль реки, с развалинами замка на близкой зеленой горе и с грядой снежных шатров на огромных дальних. Там, в Долине, снизойдет наконец ко мне истинное вдохновение, там я обрету наконец чудо жанра.

Реальная долина, разумеется, оказалась и похожей и не похожей на эти полудремотные видения. Здесь была речка, но не было развалин замка. Долина оказалась гораздо уже, чем воображаемая, и снег лежал на ее скатах там и сям или пятнами, или длинными языками, или подобием распластанных овечьих шкур, а в двух местах он подходил прямо к жалким строениям поселка огромными, сверкающими на солнце белыми склонами. Это была большая суровая высота, что-то около трех тысяч, может быть, и больше сотни на две. Двигатель несколько раз заглох, пока я крутил по серпантинке бесчисленные повороты: карбюратор хандрил на голодном пайке разреженного воздуха. Почему я полз именно сюда до самого упора, в этот неказистый поселочек, похожий скорее на лагерь в Антарктиде, чем на идиллический альпийский виллаж?

Десяток продолговатых, барачного типа домиков, стоявших в ряд вдоль некоего подобия дороги, встретил меня. Один из домиков был наполови-

ну раздавлен обвалом, камнепадом, и забит спекшейся грязью. Рамы с разбитыми стеклами поскрипывали. Ветерок посвистывал в дырах. Раздавленность и заброшенность этого недолговечного строения опечалили сердце. Кажется, и остальные целые домики поселка были пусты.

С опечаленным сердцем я остановился, затянул ручной тормоз, поставил первую передачу, да еще и подложил каблуки своему фургону под задние колеса, чтобы он, чего доброго, не покатился из горной пустыни вниз, туда, где произвел его на свет человеческий гений. С опечаленным сердцем я двинулся вдоль ряда домов вверх и тут заметил, что печаль моя легка. Да, это была высокая, спокойная, такая молодая и почти забытая печаль. Кажется, я был уже готов ко всему.

Навстречу мне шел „капитан” Иван. Я узнал его сразу, как будто и не прошло много лет, как будто мы все за эти годы и не декорировались всякими там усами и бородами, как будто только вчера пили кофе на втором этаже Общества Деятелей Искусств над улицей Горького.

— Привет, Павел.

— Здравствуй, Иван.

— Благополучно добрался?

— Вполне. Что это за поселок?

— Это, знаешь ли, лагерь ученых, гляциологов, но сейчас он полностью эвакуирован в связи с лавиноподобностью.

— Вот как?

— Да-да, нам повезло. Пойдем! Тебя все ждут.

Между пятым и шестым домиками был спуск к реке и тихая лужайка, окруженная кустарником, если только можно назвать лужайкой каменное поле с редкими пучками травы. Там стояло несколько грубо сколоченных длинных столов и скамейки —

видимо, летняя столовая гляциологов. За одним из столов сидели все мои друзья, весь наш цех: Александр, Брюс, Вацлав, Гийом, Дитер, Евсей, Жан-Клод, Збигнев, Кэндзабуро, Луиджи, Махмуд, Норман, Оскар. Они весело, с аппетитом обеды. И откуда только все взялось?! Кто приготовил? Три здоровенных горшка с горячим бараньим супом, отлично выпеченный хлеб, колобки свежего масла, айсберги ноздреватого сыра, толстенные плети лука, киндза, сельдерей, прочая зелень, развалы редиски и помидоров, дымящиеся на шампурах куски мяса, глиняные кувшины с вином — все естественное, без малейшего запаха химии, все от матери природы. Зрелище этого стола наполнило меня оптимизмом. Все-таки живучие твари эти бродячие артисты! Добыть такой харч в лавиноопасной пустыне — для этого нужен талант! Оказалось тут, что и я пришел не с пустыми руками. Четыре гулких арбуза вывалил на стол!

Збигнев и Кэндзабуро чуть потеснились и посадили Ивана. Оскар чуть подвинулся, и мне нашлось место. Обед продолжался с хрустом, с бульканьем, со смачным чавканьем, с легким смехом и без всякой сентиментальной слезливой приправы. Друзья все чудесным образом постарели, но посвежели, поседели, но загорели, словом все были хороши. Беседа текла легко, никто никому не говорил ничего лишнего.

— Кто из нас за эти годы пережил счастье в любви? Оказалось, все пережили.

— Кто из нас тонул, погибал, выплывал, выкарабкивался?

Оказалось, всем приходилось.

— Кто из нас предал молодость за большие или малые деньги?

Не было таких.

— Кто унывал и бесился от отчаяния?

Каждый.

— Кто приобрел в путешествиях наглость, жестокость и свинство?

Никто из нас не приобрел этих сокровищ.

Оказалось, что у каждого из пятнадцати был неожиданный импульс, позвавший его в горы. Импульсы были разные: у меня вот записанные выше стишки, у другого неожиданный вкус воды в каком-то роднике на дороге, третьего толкнул к рулю запах брынзы в базарных рядах... — так или иначе, но у каждого в воображении появился странный, расплывающийся образ горной долины. Никто не думал в эти моменты о товарищах или почти не думал, во всяком случае никто не представлял себе подобной фантастической встречи.

Что ж, ребята, ведь если нас собралось так много, то мы здесь сможем наворочать невесть чего! Должно быть, у каждого накопилась куча идей и реквизиит теперь у нас совершенный, а гибкость суставов и сила мышц отнюдь еще не утрачены! Если уж начинать, то начинать сейчас, иначе никогда не начнем. Все вместе мы сможем сотворить здесь настоящие чудеса, мы можем эту долину обратить в рай! Мы обратим ее в рай и осядем здесь до конца жизни, а к нам будут приезжать люди со всего света. Они будут приезжать сюда и потреблять здешние чудеса, как в Мацесте они потребляют грязи. Они будут приезжать сюда и купаться в чудесах, дышать чудесами, есть чудеса, спать в чудесном и играть с чудесами, и уезжать отсюда они будут чудесными, и заряда чудесности будет хватать им на год, на два, на пятилетку, до следующего приезда. Мы здесь утвердим свой жанр на века и позаботимся о потомстве...

Ну что ж рассусоливать, пора начинать. Все сыты? Все готовы? Тогда — начнем!

Мы встали из-за стола и приступили к работе. Не было режиссера, каждый знал сам, что делать. Каждый чувствовал, что именно к этому моменту он ехал столько лет по бесконечным дорогам мира.

Я пошел к своему фургону, открыл багажник и выгрузил сразу все ящики. Самое главное — Генератор Как Будто. Над его схемой я работал долгие годы и, кажется, довел ее до последнего возможного в наши годы совершенства. Несмотря на совершенство, штука была увесистая, и пока я ее втаскивал на вершину скальной балды, что зиждилась над потоком словно Башня Тамары, семь потов с меня сошло.

С балды я увидел всю зону работ. В зарослях ивняка мелькала красная с желтым рубашка Кэндзабуро. Он развешивал там свои знаменитые Тарелки Эхо. Александр почему-то вместе с Дитером катили вверх по овечьей тропе Бочку Олицетворения. Я еще не знал, что она из себя представляет, хотя о ней ходили уже толки в средиземноморских портовых городах. Брюс, особенно не удаляясь, прямо на полянке возле нашего пиршественного стола устанавливал свои Трапеции Кристаллотворчества. В узком кулуаре, над водопадом, как я и предполагал, Вацлав, Махмуд и Оскар мудрили над Мельницей Крупного Плана. Иван и Жан-Клод готовили к запуску Вакхический Пузырь. Збигнев — его фигурку в ярко-синем переливающимся костюме я видел на западном склоне — раскатывал вниз травянистые Ковры для Долгожданных Животных. В поселке с крыши на крышу уже прыгали Гийом и Евсей. Они перебрасывали, закручивали вокруг труб и антенн Шланги Прошлого и Пороховые Нити Будущего. Переплетаясь между собой, Шланги и Нити толстым пучком уйдут в Перпетуум Улитку, которую в этот момент как раз раздувал мехами любитель древно-

стей Луиджи. Норман, белокурая бестия, конечно же, забрался выше всех. Он парил на дельтоплане в восходящих струях долины и чем-то вроде лазера помечал на камнях точки отсчета для своего Внешнего Ока, о котором он прожужжал мне уши еще десять лет назад, когда мы случайно встретились в Калифорнии.

Я знал, что все приспособления доведены ребятами за эти долгие годы до высшего качества, и меня сжигало любопытство увидеть все это в действии. Конечно, больше всего я ждал от своего Генератора Как Будто. Я чувствовал, что здесь его хватит надолго. Быть может, он даже будет делить с другими системами свою энергию метафор.

Закрепив Как Будто на вершине балды, я спустился в поселок и начал окружать рефлекторами раздавленный барак. Здесь было единственное место в долине, которое чуть-чуть угнетало, слегка бередило в душе очажок тоски. Раздавленное, а потому бессмысленное сооружение, казалось, напоминало о хаосе неорганики, о бесчудесном мире нежизни. Именно сюда я решил направить первые потоки энергии. Здесь зародится маленький театрик, и здесь король живой природы Юмор начнет свое дело.

Все было готово. Музыкальная фраза прошла по долине от северного ущелья к южному и пропала за перевалом. Все было правильно — Россини пролетел. На гребень близкой горы, сложив свои крылья, опустился Норман. Збигнев с противоположного склона показал ему на ладошке стебелек огня. Ответный стебелек появился и затрепетал на правом плече Нормана. Это был старт. За спиной Нормана послышался нарастающий гул...

...Юный хиппон Аркадиус воображал себе свидание с Моной Лизой несколько иначе. Почему-то ему

казалось, что он со своими гёрлами останутся втроем в полутемном зале, что луч света будет направлен на шедевр и они, Аркадиус и Эмка с Галкой, часа два будут стоять в гулком пустом зале и ловить кайф от созерцания загадочной улыбки. Он так и готовил своих подружек: чтобы ни звука, ни шороха, стойте неподвижно и углубляйтесь в медитацию, стремитесь к тайне Улыбки.

Все оказалось иначе. В зале было полно света то ли естественного, то ли искусственного — не понять. Останавливаться не рекомендовалось. Поток людей медленно двигался мимо вежливых милиционеров, и те тихо, монотонно повторяли:

— Граждане, просьба не останавливаться...

Тогда Аркадиус понял, что снова будет лажа, что никакой медитации не предвидится, что современный мир с его массовой тягой к шедеврам прошлого снова преподносит ему лажу, лажу и лажу.

Он увидел картину с бокового ракурса, и сердце вдруг заколотилось. Небольшая зеленоватая картина за пуленепробиваемым стеклом, окруженная драпировкой. Едва он увидел картину, как тут же понял, что это не лажа. Медленно влачилась толпа все ближе и ближе к картине, и Аркадиус, переставляя кеды, уже не помнил ничего вокруг, а только приближался и ощущал лишь свое приближение и страх встречи.

Он хотел было сразу сосредоточиться на Улыбке, чтобы не потерять ни секунды, но внимание его почему-то было отвлечено фоном, видом странной, будто опаленной неведомым огнем безжизненной долины. Улыбка! Улыбка, мысленно крикнул он себе и перевел взгляд на лицо, но тут эта гёрла Мона Лиза подняла руку и тыльной стороной кисти закрыла свои губы. Длинная тонкая девичья рука как бы рассекла портрет, тонкая кожа ладони с голубы-

ми жилочками и линиями судьбы, казалось, написана была только вчера, ее не тронула порча времени. Боль наполнила грудь и живот Аркадиуса. Боль и смятение держались в нем те несколько минут, что он шел мимо портрета. Он понимал, что ладонь Джоконды — это чудо и счастье, которого хватит ему на всю жизнь, хотя в линиях судьбы он и не успел разобраться из-за подпиравших сзади тысяч, стремившихся к Улыбке.

...и между скальных стен появилась и застыла на мгновение голова лавины. Как, черт возьми, она была безобразна! Мы все успели рассмотреть бессмысленно-глумливую, серую, чудовищно вздутую и нафаршированную камнями харю. В следующее мгновение харя эта вздулась уже выше всех пределов и обратилась в страшное брюхо с ползущими вниз отростками. В следующее мгновение лавина поглотила Нормана, разрубила скальную балду с моим Генератором, пожрала Мельницу и Бочку, а вместе с этим пропали в сером воющем кошмаре одна за другой три яркие фигурки друзей. Я не успел сообразить, кто еще... кто еще... кто еще... а только лишь увидел, что и по противоположному склону летят камни и Збигнев бежит от них, закрывая голову руками, и падает, и пропадает и что повсюду, со всех сторон льются в нашу долину потоки селя, то есть снега с грязью и камнями, а над всеми склонами и зубчатыми стенами клубится снежная пыль и взлетают камни в бессмысленной игре, а в небе стоит неумолчный грохот, как будто армада ракетноносцев зависла над нами для полного уничтожения.

В следующее мгновение я увидел, как камень величиной с танк выпрыгнул словно мячик, расплющил мой „фиат” и запрыгал дальше. В следующее

мгновение я увернулся от другого раскаленного танка, но был сбит ударом в спину и тут же наполовину засыпан серой снежной грязью. Мне удалось нечеловеческим усилием высвободиться, вскочить и забежать за угол барака. Это было последнее, что я смог сделать. По улице вниз, бессмысленно кривляясь и воя, неслась всепожирающая лавинная харя. Я увидел, как Брюс успел все-таки рвануть рубильник детонатора и как он был поглощен вместе со своим жалким взрывом. Я увидел, как обнялись на прощание Александр и Иван, и успел пожалеть, что меня нет с ними. В следующее мгновение она выросла надо мной, нависла надо мной... В следующее мгновение она пожрала меня.

...Через час начальник лагеря гляциологов профессор Бепсов вместе с секретарем горного райкома Валихановым вылетели на вертолете к месту катастрофы. Никаких следов поселка внизу не было видно. Вся долина была засыпана слежавшейся лавинной массой.

— Вовремя эвакуировали лагерь, — сказал, слегка поеживаясь, Валиханов. — Конечно, материальные ценности тоже жалко, но человек для нас важнее.

— Я очень доволен! — закричал ему в ухо профессор Бепсов. — Впервые удалось прогнозировать сход лавин с точностью до одних суток! Видите, Зиннур Валиханович, эти три китовых хвоста? Три лавины сошли одновременно по рассчитанным направлениям, и одновременно произошел выброс селя через юго-западный кулуар. Отлично! Надеюсь, здесь никого не было в этот момент...

— Никого не было, — подтвердил Валиханов.

— Ручаетесь? — спросил Бепсов. — Сейчас, знаете, распространились эти бродячие туристы. За ними не уследишь.

— На дороге стояли три поста, и даже на перевале дежурили спасатели, — сказал Валиханов. — Пробраться сюда было невозможно, если, конечно, ты не волшебник.

— Гуд! — сказал Бепсов и сильно потер руки. — Завтра мы высадим группу Караченцева. Будем бурить! Брать образцы! — Он еще раз потер руки. — Гуд! Мульто бене! Зур якши!

Он любил в дни удач иноземные приятные восклицания.

...Трудно сказать, какие явления произошли в тысячетонной массе, пожравшей меня и всех моих товарищей, но ночью я оказался на поверхности. Я обнаружил себя сидящим на плотной, будто бы мраморной поверхности, по которой бродили блики ночных светил. Затихшая после осатанения стихия была теперь даже красива. В некотором отдалении я увидел поднимающегося Брюса. Издалека по ледяному мрамору приближались к нам Александр и Иван, Кэндзабуро и Евсей, Норман, Збигнев, Оскар, Вацлав, Луиджи, Махмуд, Гийом, Дитер и Жан-Клод. Все были целы, никаких следов гибели не мог я обнаружить ни на своем теле, ни на товарищах, разве что платье наше сгорело, но нагота еще яснее выказывала неповрежденность нашей плоти. Мы собрались в кружок, а потом повернулись все в одном направлении и увидели тропу, что петляла по застывшей сверкающей массе в тот узкий юго-западный кулуар, откуда вырвались еще недавно потоки селя. Тропинка шла круто и исчезала между скал. Мы вытянулись цепочкой в алфавитном порядке и не торопясь двинулись в путь. Не было ни чувств, ни воспоминаний.

Чувства ожили, когда мы с гребня хребта увидели другую долину. Оказывается, она соседствовала

с нашей, но была огромна, как целая страна, и цвела под хороводом неведомых ночных светил. Восторг охватил нас, когда мы поняли, что это и есть истинная Долина.

Воздух любви теперь окружал нас, заполнял наши легкие, расправлял опавшие бронхи, насыщал кровь и становился постепенно нашим миром, воздух любви. Мы медленно, еще не вполне веря своему счастью, спускались в Долину.

На одном из поворотов мы увидели внизу чудо озер. Множество спокойных, затейливо нарезанных и прозрачных до дна озер ждало нас. Я увидел среди них одно, похожее сверху на смешного бодливого дракончика, и почему-то подумал, что именно там будет теперь мой дом.

Потом началось чудо дерев. Разновысокие пучки дерев окружали нас и трепетали своей резной листвою то ли под чудом ветра, то ли под чудом ночных светил. Мы шли меж дерев по чуду травы. Чудо травы и цветов прикасалось к нашим ногам, животам. Прикосновения эти готовили нас, как мы все уже понимали, к чуду глаз. Вскоре оно наступило, и теперь сквозь листву, и меж стволов, и из-под ног, и из открытых небес смотрело на нас множество глаз, и нам было радостно ощущать их прикосновения.

Потом впереди появился лев. Гигантскими прыжками он приближался, а потом побежал вдоль нашей цепочки, обнюхивая наши тела. Он пробежал от Александра до Павла и повернул обратно. Чистейшая золотая грива струилась в тиши, а теплый и мощный бок представлял соблазн для поглаживания. Мы гладили его, и всякий раз лев оглядывался и посматривал умным, чуть-чуть ироническим оком. Потом он прыжком возглавил наш отряд и повел нас дальше, в глубь Долины. Мы шли за чудом льва и готовились к встрече с новыми чудесами.



## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Ночь на штрафной площадке ГАИ</b>	<b>5</b>
<b>Услуга за услугу</b>	<b>38</b>
<b>Вне сезона</b>	<b>65</b>
<b>Автостоп нашей милой Мамани</b>	<b>86</b>
<b>Море и фокусы</b>	<b>117</b>
<b>Словесный портрет с бакенбардами</b>	<b>140</b>
<b>Долина</b>	<b>171</b>

**Отзывы на эту книгу  
просим посылать по адресу издательства:  
Possev-Verlag, Flurscheideweg 15  
D-6230 Frankfurt a. M. 80**

Василии А к с ё н о в – популярный современный писатель, автор романов, повестей и рассказов, инициатор неподцензурного альманаха «Метрополь». Эмигрировал шесть лет назад и живет теперь в Вашингтоне.

Повесть «Поиски жанра» опубликована в журнале «Новый мир» в 1978 году. Переведена на европейские языки. Отдельной книгой, однако, издается впервые, – с восстановлением цензурных изъятий и авторской доработкой.

В этой повести писатель действительно ищет «жанр» и «героя», получивших развитие в его последующих книгах – «Ожог», «Остров Крым», «Бумажный пейзаж» и «Скажи изюм».